



Альфонс Доде

Рассказы по понедельникам

ПОСЛЕДНИЙ УРОК

© Перевод Н. Касаткиной

Рассказ мальчика-эльзасца

В то утро я сильно опоздал в школу и очень боялся выговора, тем более что господин Амель собирался спрашивать у нас причастия, а я не знал ни полслова. На миг мне пришла мысль пропустить урок и побегать на воле.

Погода стояла такая теплая, такая ясная!..

Слышно было, как на опушке леса свистят дрозды и как на Риперском лугу, за лесопильней, немцы занимаются строевым учением. Это привлекало меня куда больше, чем правило причастий, но я все же устоял и поспешил в школу.

Пробегая мимо мэрии, я заметил, что народ толпится у доски с объявлениями. За последние два года оттуда к нам шли все неприятности — проигранные сражения, реквизиции, приказы коменданта. На ходу я подумал: «Что там еще за новости?»

Но тут кузнец Вахтер, читавший объявление вместе со своим подручным, окликнул меня:

— Не торопись в школу, малый, все равно поспеешь.

Я решил, что он смеется надо мной, и, запыхавшись, вбежал в палисадник перед домом господина Амеля.

Обычно в начале занятий стоял шум, слышный даже на улице, — хлопали крышки парт, все хором твердили уроки, затыкая уши, чтобы лучше вызубрить, раздавался стук учительской линейки:

— Потихе, потихе!

Я рассчитывал под эту возню незаметно пробраться на свое место, но именно сегодня было тихо, как бывает в воскресное утро.

В открытое окно я увидел, что мои товарищи уже расселись по местам, а господин Амель шагает взад и вперед с грозной линейкой под мышкой. Каково мне было отворить дверь и войти посреди этой тишины? Представляете себе, как я краснел и дрожал?

Но нет — ничего. Господин Амель взглянул на меня без гнева и ласково сказал:

— Ступай скорее на место, Франц, мой мальчик. Мы уже собрались начать без тебя.

Я перешагнул через скамью и поскорее уселся за парту. Только тут, оправившись от страха, я заметил, что на учителе парадный зеленый сюртук, гофрированный галстук и вышитая черная шелковая ермолка, — так он одевался только в те дни, когда приезжал инспектор или когда раздавались награды. Да и весь класс поразил меня каким-то необычным, торжественным видом. Но еще больше удивился я, увидев, что на задних всегда пустующих скамьях, сидят и молчат, как мы, старик Хаузер с неизменной треуголкой, рядом — бывший мэр, бывший почтальон и другие жители деревни. У всех были печальные лица. У Хаузера на коленях лежал раскрытый старый, истрепанный по углам букварь, а на нем огромные очки.

Пока я дивился происходящему, господин Амель взошел на кафедру и тем же ласковым и серьезным тоном, каким встретил меня, обратился к нам:

— Дети! Сегодня я в последний раз занимаюсь с вами. Из Берлина пришел приказ преподавать в школах Эльзаса и Лотарингии один только немецкий язык... Новый учитель приезжает завтра. Сегодня ваш последний урок французского. Прошу вас быть как можно внимательнее.

Эти его слова потрясли меня... Ах, негодяи!. Вот о чем они объявили на стене мэрии!

Последний урок французского!..

А я-то едва умел писать! Значит, теперь уж я не выучусь никогда! Значит, так и придется жить дальше! Как я пожалел о потерянном времени, об уроках, пропущенных ради того, чтобы искать птичьи гнезда или скользить по замерзшему Саару! И книги, которые только что были мне скучны и оттягивали руки — грамматика, священная история, — казались теперь старыми друзьями, с которыми очень грустно будет расставаться. А господин Амель! При мысли, что мне больше не придется его видеть, позабылись и наказания и удары линейкой.

Бедняга! Он надел парадный воскресный костюм в честь этого последнего урока. Понял я также, зачем пришли и уселись на задних скамьях наши деревенские старики. Этим они как бы выражали сожаление, что не часто ходили в школу. Этим они на свой лад благодарили учителя за сорокалетнюю верную службу и отдавали долг родине, уходившей от них...

На том мои размышления были прерваны, я услышал свое имя. Настал мой черед отвечать урок. Чего бы я не дал, чтобы громко и внятно, без единой запинки, повторить пресловутое правило причастий! Но я спутался с первых же слов и в тоске стоял за своей партой, переминаясь с ноги на ногу, не смея поднять глаза. Я слышал, как говорил мне господин Амель:

— Я не стану бранить тебя, Франц, мой мальчик, ты и так, должно быть, достаточно наказан... То-то и есть! Так вот думаешь изо дня в день: куда мне спешить? Подучусь завтра. А потом видишь, что выходит? Наш Эльзас всегда откладывал учение на завтра, и в этом его великая беда. Ведь теперь они вправе сказать нам: как же так? Вы называете себя французами, а не умеете ни говорить, ни писать на родном языке. И в этом ты виноват не больше других, Франц, мой мальчик. Всем нам есть в чем упрекнуть себя. Родители ваши не слишком пеклись о вашем образовании. Они охотнее посылали вас работать на поле или в прядильне, чтобы получить лишний грош. А мне самому разве нечего поставить себе в упрек? Разве я частенько не поручал вам поливать у меня в саду цветы, вместо того чтобы заставлять вас учиться? А когда мне хотелось поудить форелей, разве не отпускал я вас без зазрения совести?

Так постепенно господин Амель перешел к французскому языку, к тому, что это прекраснейший язык в мире, самый ясный, самый стойкий, что надо сохранить его и не забывать его никогда, потому что, пока народ, обращенный в рабство, твердо владеет своим

языком, он как будто владеет ключом от своей темницы...[1]Потом господин Амель взял грамматику и прочел нам весь урок. Я сам был удивлен, что так хорошо понимаю. Все, что говорил учитель, было очень, очень легко. Вероятно, я никогда так внимательно не слушал, а он никогда так терпеливо не объяснял. Бедный старик как будто хотел, перед тем как уйти, передать нам

все свои познания, сразу вложить их в нас.

После урока грамматики перешли к письму. Для этого дня господин Амель приготовил нам совсем новые, выписанные красивым закругленным почерком примеры: «Франция, Эльзас, Франция, Эльзас». Прикрепленные к партам, они, точно гирлянды флажков, развевались по всему классу. И до чего же каждый из нас старался, и какая стояла тишина! Только и слышно было, что скрипение перьев по бумаге. Невзначай в комнату влетели майские жуки, но никто не обратил на них внимания, даже малыши, выводившие палочки с таким усердием, с таким старанием, словно и это уже был французский язык... На крыше школы тихонько ворковали голуби, и, слушая их, я задавал себе вопрос:

— Может, их тоже заставят петь по-немецки?

Время от времени я отрывал глаза от страницы и видел, что господин Амель неподвижно сидит на кафедре, всматриваясь в окружающие предметы, как будто желая унести во взгляде свой школьный домик. Подумайте! Целых сорок лет сидел он на этом месте, перед ним был все тот же двор и тот же класс. Только старые скамьи и парты обтерлись до глянца, каштановые деревья во дворе вытянулись, а хмель, посаженный им, увивал теперь окна до самой крыши. До чего тяжело ему было прощаться со всем этим и слушать, как топчется наверху сестра, складывая сундуки! Ведь завтра они уезжали, навеки покидали здешние края!

Тем не менее у него достало сил довести занятия до конца.

После письма был урок истории, затем малыши хором тянули: ба, бе, би, бо, бу. И старый Хаузер на задней скамье, надев очки и держа букварь обеими руками, вместе с ними твердил буквы. И он старался, как мог: голос его дрожал от волнения, и так потешно было слушать его, что всем нам хотелось смеяться и плакать. О нет! Мне не забыть этот урок...

И вдруг церковные часы начали бить полдень, затем раздался звон к молитве. В тот же миг под окнами грянули трубы пруссаков, возвращавшихся с учения. Господин Амель побледнел и поднялся на кафедру. Никогда не казался он мне таким большим.

— Друзья мои! — начал он. — Друзья мои! Я... я..

Но что-то душило его, он не мог договорить. Он повернулся к доске, взял кусок мела и, нажимая изо всей мочи, написал огромными буквами:

«Да здравствует Франция!»

Потом застыл на месте, припав головой к стене, и без слов сделал нам знак рукой:

«Теперь кончено... Уходите...»

ПАРТИЯ НА БИЛЛИАРДЕ

© Перевод К. Ксаниной

Сражение длится уже два дня, солдаты провели ночь под проливным дождем, не снимая ранцев, и совсем выбились из сил. А между тем уже три бесконечно долгих часа их заставляют томиться в ожидании, стоя в боевой готовности, среди луж проезжей дороги, в грязи размытых полей.

Изнемогая от усталости, от бессонных ночей, в промокших шинелях, они жмутся друг к другу, чтобы согреться, поддержать один другого. Иные даже спят стоя, опираясь на ранец соседа; на их разгладившихся, успокоенных лицах отчетливее проступают следы утомления и перенесенных лишений. Дождь, слякоть... Ни костра, ни горячей пищи. Низко нависшее темное небо... Ощущение, что вокруг повсюду притаился неприятель... Все это наводит мрачное уныние.

Что там делают? Что там происходит?

Пушки, обращенные жерлами к лесу, словно подстерегают кого-то. Скрытые в засаде митральезы уставились в небо. По-видимому, все готово к наступлению. Почему же не наступают? Чего ждут?

Ждут приказа, но штаб главнокомандующего не присылает его.

А ведь штаб поблизости. Это тот величественный замок времен Людовика XIII, омытые дождем красные кирпичные стены которого блестят меж купами деревьев на склоне холма. Царственное жилище, вполне достойное водруженного на нем знамени маршала Франции. Отделенные от дороги широким рвом и каменной оградой, поднимаются вверх, до самого крыльца, ровные зеленые лужайки, окаймленные вазами с цветущими растениями. По ту сторону дома уходят вдаль просветы буковых аллей, расстилается зеркальная гладь пруда, где плавают лебеди, и, оглашая воздух пронзительными криками, под крышей огромного птичника в виде пагоды бьют крыльями и распускают веером хвост павлины и золотистые фазаны.

Хотя хозяева уехали, здесь не чувствуется той заброшенности, того великого запустения, которое несет с собой война. Знамя главнокомандующего было охраной всему, уберегло все вплоть до мельчайших цветов на лужайках. Поражаешься тому, что так близко от поля сражения царит строгий порядок и величавый покой, разлитый в симметричных группах деревьев, в безмолвной глубине аллей. Дождь, от которого там, на дорогах, набухает отвратительная грязь и образуются глубокие рытвины, мило орошает и оживляет красный цвет кирпичных стен и зелень лужаек, наводит блеск на листья апельсиновых деревьев, на белое оперение лебедей. Все сверкает, все дышит миром. Право, если бы не знамя, развевающееся на вышке замка, не двое часовых у решетки парка, нельзя было бы поверить, что находишься в штабе главнокомандующего. В конюшнях отдыхают лошади. Кое-где попадаются денщики, вестовые в обычной форме, слоняющиеся около кухни, садовник в красных штанах пехотинца невозмутимо проводит граблями по песку парадного двора.

В столовой, окна которой выходят на главное крыльцо, стоит стол с неубранной посудой. Откупоренные бутылки, мутные пустые бокалы на измятой скатерти дополняют картину пиршества, участники которого только что разошлись. Из соседней комнаты доносятся громкие голоса, раскаты смеха, стук бильярдных шаров и звон бокалов. Маршал играет там на бильярде — вот почему армия ждет приказа. Раз маршал начал партию, мир может провалиться — ничто не в состоянии помешать ему довести ее до конца.

Биллиард! Вот слабость великого полководца.

Он стоит сосредоточенный, как во время сражения, в полной парадной форме; грудь его увешана орденами, глаза блестят, щеки пылают, он возбужден грогом, обедом и игрой. Адьютанты почтительно и услужливо теснятся вокруг него, млеют от восхищения при каждом его ударе. Когда маршал делает очко, все кидаются к доске для записи; когда маршалу

хочется пить, все спешат приготовить ему грог. Шелестят сутаны и эполеты, позвякивают ордена и аксельбанты, и зрелище всех этих приятных улыбок, изящных угодливых поклонов, обилие золотого шитья и щеголеватых мундиров в высоком зале с дубовыми панелями, из окон которого видны парк и парадный двор, — все это напоминает осенние празднества в Компьене[2] и отвлекает мысли от людей в забрызганных грязью шинелях, которые в ожидании изнывают на дорогах и теснятся мрачными кучками под дождем.

Партнер маршала — низкорослый штабной капитан, затянутый, завитой, в белых перчатках; он превосходный игрок на бильярде, способный обставить всех маршалов на свете, но в игре он умеет держаться на почтительном расстоянии от начальства и старается не выигрывать, но и не чересчур уж легко проигрывать. Он, что называется, офицер, подающий большие надежды...

Осторожно, молодой человек, не увлекайтесь! У маршала пятнадцать очков, а у вас десять. Вся задача в том, чтобы провести так партию до конца, и вы сделаете для вашего повышения больше, чем если бы вы были вместе с остальными там, под потоками ливня, застилающими горизонт, грязнили бы ваш красивый мундир и стирали блеск с позолоты аксельбантов в ожидании приказа, который все не приходит.

Партия действительно интересная. Шары катятся, сталкиваются. Борта хорошо отдают, сукно нагревается... Вдруг огонь пушечного выстрела озаряет небо. Отдаленный гул сотрясает стекла. Все вздрагивают, тревожно переглядываются. Один только маршал ничего не видел, ничего не слышал, склонившись над бильярдом, он тщательно обдумывает великолепную оттяжку: он очень силен в оттяжках!..

Но вот новая вспышка, за ней другая. Выстрелы следуют один за другим, все учащаются. Адъютанты подбегают к окнам. Уж не собираются ли пруссаки наступать?

— Ну и пусть их наступают... — говорит маршал, натирая мелом кий. — Ваша очередь, капитан.

Чины штаба трепещут от восторга. Тюренн,[3] заснувший на лафете, ничто по сравнению с невозмутимым маршалом, играющим на бильярде во время боя... А шум все усиливается. К грохоту орудий примешиваются разрывы митральез, раскаты ружейных залпов. Багровое облако дыма, черное по краям, поднимается вдали над лужайками. Вся глубь парка объята заревом. В птичнике пронзительно кричат перепуганные павлины и фазаны; в конюшнях арабские лошади, почуяв порох, становятся на дыбы. В штабе главнокомандующего начинается волнение. Депеши следуют одна за другой. Ординарцы скачут сломя голову. Посланные хотят видеть маршала.

Но маршал недоступен. Я же вам говорил: ничто не сможет помешать ему окончить партию!

— Ваша очередь, капитан!

Капитан становится рассеянным. Вот что значит молодость! Он уже теряет голову, забывает свою тактику и в два приема кладет столько шаров, что почти выигрывает партию. На этот раз маршал выходит из себя. Его мужественное лицо выражает удивление и негодование. В этот момент во дворе падает наземь примчавшаяся во весь опор лошадь. Седок — адъютант, весь забрызганный грязью, — невзирая на запрет, одним прыжком взлетает на крыльцо.

— Господин маршал! Господин маршал!

Надо видеть, какой он встречает прием!.. Пылая гневом, красный, как петух, маршал показывается в окне, держа в руках кий.

— Что случилось? Это еще что? Разве здесь нет часового?

— Но, господин маршал...

— Хорошо... Сейчас.... Пусть ждут моего приказа, черт возьми!

И окно с шумом захлопывается.

Пусть ждут его приказа!

Так они и делают, бедняги. Ветер гонит им в лицо дождь и картечь. Целые батальоны разгромлены, соседние не вводятся в бой и не могут понять, почему они бездействуют. Ничего не поделаешь. Ждут приказа!.. А так как смерть не ждет приказа, люди валяются сотнями за кустарник, в канавы, против безмолвного замка. Картечь не щадит их даже после того, как они упали, и из открытых ран беззвучно струится благородная кровь Франции.

А там наверху, в биллиардной, тоже идет жаркий бой: у маршала снова перевес, но низкорослый капитан обороняется, как лев...

Семнадцать! Восемнадцать! Деятнадцать!..

Адъютанты едва успевают записывать очки. Шум сражения приближается. Маршалу остается выиграть только одно очко. Снаряды уже залетают в парк. Вот одни из них разрывается над прудом. Зеркальная поверхность раскалывается. Обезумевший от страха лебедь кружится в водовороте окровавленных перьев. Это последний выстрел...

Все стихло. Слышатся только шелест дождя в аллеях, глухой стук колес, у подножия холма и на размытых дорогах какие-то звуки, напоминающие топот торопливо бегущего стада... Армия в беспорядке отступает. Маршал выиграл партию.

СОН КОЛЬМАРСКОГО СУДЬИ

© Перевод Н. Касаткиной

До того как судья Доллингер из кольмарской палаты присягнул императору Вильгельму, не было на свете человека счастливей его, когда он являлся в присутствии в судейской шапочке набекрень, толстопузый, губастый, с тремя подбородками, покоившимися на батистовом галстуке.

«Ах, как сладко я сейчас вздремнул!», - казалось, думал он, усаживаясь. Приятно было смотреть, как он вытягивает жирные ножки и откидывается в глубоком кресле на прохладной „и мягкой кожаной подушке, благодаря которой он сохранил ровный нрав и хороший цвет лица после тридцати лет сидения в присутствии.

Бедный Доллингер!

Эта круглая подушка и загубила его. Ему так хорошо сиделось на ней, такое у него было удобное место, что он предпочел стать пруссаком, чем сдвинуться с этого места. Император Вильгельм сказал ему:

— Оставайтесь на своем месте, Доллингер!

И Доллингер остался на своем месте. И вот он теперь советник кольмарской судебной палаты и честно отправляет правосудие именем его берлинского величества.

Ничто не изменилось вокруг него: то же скучное, бесцветное здание, тот же зал заседаний, с

вытертыми скамьями, голыми стенами, гудением адвокатских голосов, тот же тусклый свет из высоких окон с репсовыми занавесками, тот же Христос, склонивший голову и распростерший руки на пыльном распятии. Перейдя к Пруссии, кольмарский суд остался верен себе: в одном конце зала, как и прежде, стоит императорский бюст... Но все равно! Доллингер не чувствует себя дома. Как ни откидывается он в кресле, как яростно ни вдавливается в него, ему теперь не удастся сладко вздремнуть, а если уж он засыпает во время присутствия, то видит страшные СНЫ...

Доллингеру снится, будто он находится на высокой горе вроде Онека или Эльзасского кряжа... Что он делает там совсем один в судейской мантии, зачем сидит в своем глубоком кресле на этих необъятных высотах, где не видно ничего, кроме низкорослых кустарников да хоровадов мошкеры?.. Доллингер сам не знает. Он ждет, весь дрожа от холодного пота и от гнетущего кошмара. Огромное красное солнце восходит по ту сторону Рейна из-за шварцвальдских сосен, и, по мере того как поднимается солнце, внизу, в долинах Тайна, Мюнстера, по всему Эльзасу из конца в конец катится глухой гул, шум шагов, грохот колес; он все крепчает, все надвигается, а у Доллингера сжимается сердце. И вот кольмарский судья видит, как по длинной, извилистой дороге, ведущей на горные кручи, к нему приближается нескончаемое траурное шествие, — весь эльзасский народ явился на сбор в это ущелье Вогезов, чтобы торжественно покинуть родную страну.

Впереди длинные возы, запряженные четверкой волов, те длинные, высокие возы, которые в пору жатвы встречаешь доверху полными снопов. Теперь они ползут, нагруженные домашним скарбом, орудиями труда. Тут и широкие кровати, высокие шкафы, мягкая мебель, и лари, прялки, детские стульчики, прадедовские кресла, старинные реликвии, сваленные в кучу, согнанные с привычных мест и развевающие по ветру священный прах семейных очагов. Целые дома едут на этих возах. И движутся они, кряхтя, и волы с трудом тащат их, так что кажется, словно земля цепляется за колеса, словно комки, присохшие к боронам, плугам, лопатам, граблям, делают груз еще тяжелее, словно с этим отъездом выкорчевываются все корни. Позади теснится молчаливая толпа людей разных сословий, разных возрастов — от высоких стариков в треуголках, которые, дрожа, опираются на посохи, до белокурых кудрявых ребятишек, одетых в бумазейные штанишки на лямках, от параличной бабки, которую статные молодцы несут на плечах, до младенцев, которых матери прижимают к груди. Все они, здоровые и немощные, те, что будут солдатами на следующий год, и те, что были участниками страшной войны, искалеченные кирасиры, передвигающиеся на костылях, изможденные, бледные артиллеристы, сохранившие в лохмотьях мундиров плесень шпандауских казематов,[4]- все они горделиво шествуют по дороге, у которой сидит кольмарский судья, и, проходя мимо, каждый отворачивается от него с жестокой гримасой гнева и отвращения.

Несчастный Доллингер! Ему хотелось бы скрыться, убежать, но это невозможно: кресло врезано в гору, кожаная подушка — в кресло, а сам он — в подушку. Он понимает, что он здесь выставлен у позорного столба и что позорный столб водрузили так высоко, дабы его позор был виден как можно дальше... А шествие продолжается, идет деревня за деревней — те, что с швейцарской границы, ведут за собой огромные стада, те, что из Саара, везут свой тяжелый инструмент на вагонетках для руды. Далее следуют города — целое племя дубильщиков, ткачей, навивальщиков с прядильных фабрик; за ними буржуа, священники, раввины, судьи, черные мантии, красные мантии... Вот и кольмарская палата со стариком председателем во главе. И Доллингер, сгорая от стыда, пытается спрятать лицо, но руки не слушаются его, пытается закрыть глаза, но веки не опускаются. Надо, чтобы он видел и чтобы его видели, чтобы он не избег ни одного презрительного взгляда, который мимоходом бросают ему коллеги...

Судья у позорного столба — как это ужасно! Но еще ужаснее, что в толпе все его близкие и никто из них не желает узнавать его. Жена, дети проходят мимо, опустив голову. Должно быть, им тоже стыдно! И его любимец, малютка Мишель, уходит навсегда, даже не взглянув

на него. Только старик председатель остановился на миг и шепнул ему:

— Идемте с нами, Доллингер. Стыдно сидеть здесь, мои друг!..

Но Доллингер не может подняться. Он рвется, зовет на помощь, а шествие тянется часами. Когда же оно удаляется на исходе дня, прекрасные долины, усеянные колокольнями и фабричными трубами, затихают. Весь Эльзас ушел. Один кольмарский судья, прикованный к позорному столбу, бессменно сидит наверху на своем месте...

...Внезапно картина меняется. Кругом кипарисы, черные кресты, ряды могил, толпа, одетая в траур. Это — кольмарское кладбище в день похорон. Все городские колокола трезвонят наперебой. Скончался советник Доллингер. То, чего не мог сделать долг, взяла на себя смерть. Она отвинтила бессменного судью от кожаной подушки и уложила плашмя человека, упорно желавшего восседать на месте...

Нет ощущения страшнее, чем видеть себя во сне мертвым и оплакивать самого себя. С сокрушенным сердцем присутствует Доллингер на собственном погребении. Еще больше, чем своей смертью, удручен он тем, что в огромной толпе, теснящейся вокруг, нет никого из друзей и родных. Никого из кольмарцев, одни пруссаки! Из прусских солдат составлен караул, прусские чиновники идут за гробом, и речи, что произносятся над его могилой, — это прусские речи, и земля, которой засыпают его и от которой ему так холодно, — это, увы, прусская земля!

Внезапно толпа почтительно расступается. Появляется великолепный белый кирасир, под плащом у него что-то вроде большого венка иммортелей. Кругом говорят:

— Смотрите: Бисмарк!.. Смотрите: Бисмарк!..

И кольмарский судья думает с тоской:

«Вы оказываете мне большую честь, ваше сиятельство, только бы лучше здесь был мой малютка Мишель...»

Ему мешает додумать громовой взрыв хохота, неудержимого хохота, беззастенчивого, буйного, неумного.

«Что с ними?» — в перепуге думает судья. Он поднимается, оглядывается... Оказывается, г-н фон Бисмарк благоговейно возложил ему на могилу подушку, его кожаную подушку, с такой надписью по кругу: судье доллингеру гордости судейского сословия в знак памяти и сожаления.

На кладбище смеются, гогочут, и этот грубый прусский хохот отдается в склепе, а в склепе плачет от стыда мертвец, навеки уничтоженный насмешкой...

ПЛОХОЙ ЗУАВ

© Перевод А. Кулишер

Кузнец Лори, рослый мужчина, житель Сент-Мари-о-Мин, в этот вечер был не в духе.

Обычно он после заката солнца, потушив огонь в кузнице, садился на скамейку перед дверью своего дома и наслаждался той приятной усталостью, которую человек испытывает после тяжелой работы, на исходе знойного дня. Прежде чем отпустить подручных, он распивал с

ними холодное пиво, глядя, как с соседних фабрик расходятся рабочие. Но в этот вечер Лори оставался в кузнице, пока не пришло время ужинать, да и то он принялся за еду неохотно. Украдкой поглядывая на мужа, старуха Лори думала про себя:

«Что с ним случилось?.. Уж не получил ли он из полка дурную весть и скрывает ее от меня?.. Может, старший наш заболел?..»

Но она не смела расспрашивать мужа и только старалась утихомирить трех мальчуганов с белокурыми, точно спелые колосья, волосами; сидя за накрытым столом, они с веселым смехом уплетали вкусный салат из редьки, приправленный сметаной.

Немного погодя кузнец, сердито отодвинул тарелку.

— Ах, подлецы! Ах, мерзавцы! — воскликнул он.

— На кого это ты сердисься, Лори?

Он дал волю своему гневу.

— На тех негодяев — их пятеро или шестеро, — что сегодня с утра разгуливают по улицам во французских мундирах, рука об руку с баварцами... Они тоже из тех, кто... (как это называется?) пожелал перейти в прусское подданство. И подумать только, что с каждым днем их все больше возвращается, этих лжеэльзасцев!.. Чем только их опоили!

Жена кузнеца попыталась защитить их.

— Как сказать, родной, нельзя уж так строго винить бедных ребят... Этот Алжир, где-то в Африке, куда их посылают, так далеко отсюда!.. Там они тоскуют по родине, и для них большой соблазн — вернуться домой, покончить с солдатчиной.

Лори изо всех сил стукнул кулаком по столу.

— Молчи, старуха!.. Вы, женщины, ничего в этом не смыслите. Век свой возитесь с детьми, только для них живете — вот и мерите все на детскую мерку... А я тебе скажу, что это подлецы, отступники, презренные трусы. Если бы не приведи бог — наш Христиан оказался способным на такую низость, я бы зарубил его своей саблей; это так же верно, как то, что меня зовут Жорж Лори и что я семь лет прослужил в егерском полку.

Приподнявшись, кузнец со свирепым видом указал на длинный егерский палаш, висевший на стене, под фотографией сына, зуава, которую тот прислал из Африки. Но взглянув на открытое, черное от загара лицо молодого эльзасца, резко выделявшееся на фоне белесых, расплывчатых пятен, в которые превращаются на фотографиях яркие краски, тускнея и сливаясь при сильном свете, кузнец мигом успокоился и рассмеялся.

' — Ну и дурак же я, что так расходился, — будто нашему Христиану в голову могло бы прийти стать пруссаком... Сколько он их уложил за время войны!..

Эта мысль привела кузнеца в хорошее расположение духа. Он с аппетитом доел свой ужин и тотчас отправился выпить кружку-другую пива в трактир «Виль де Страсбур».

Жена кузнеца осталась одна. Уложив спать трех белокурых мальчуганов — они еще долго щебечут в соседней комнате, словно птенцы, засыпающие в гнездышке, — она берет работу, садится у двери, выходящей в сад и начинает штопать. Время от времени она со вздохом думает:

«Пусть даже он прав: они трусы, отступники... А все-таки для матерей большое счастье, что они вернулись».

Она вспоминает те годы, когда ее старшин сын, прежде чем пойти на военную службу, работал в это время дня здесь, в саду. Она смотрит на колодец, где он наполнял лейки — в рабочей блузе, с длинными, прекрасными волосами, которые ему обрезали, когда он стал зуавом...

Внезапно она вздрагивает. Калитка — та, что выходит в поле, — скрипнула. Собака не залаяла. А ведь тот, кто вошел, крадется, словно вор, вдоль стен, бесшумно пробираясь между ульями...

— Здравствуй, мама!

Перед ней Христиан, в расстегнутом мундире, смущенный, взволнованный; он говорит заплетающимся языком. Малодушный солдат вернулся вместе с другими зуавами на родину и вот уже около часа бродит вокруг дома, дожидаясь, пока уйдет отец. Мать хотела бы разбранить его, но у нее не хватает духу. Она так давно не видела его, так давно не целовала! К тому же сын приводит веские причины; он рассказывает ей, как сильно он скучал по родному краю, по кузнице, как томился разлукой со своими, как вдобавок дисциплина становилась все более суровой, а товарищи издевались над ним, обзывая его «пруссак» за его эльзасское произношение. Мать верит всему, что он говорит; ей достаточно взглянуть на него, чтобы поверить его словам. Продолжая разговаривать, они входят в столовую. Разбуженные шумом, мальчики выскакивают босиком, в одних рубашках и бросаются на шею старшему брату. Мать уговаривает его поесть, но он не голоден. Его мучит жажда, неутолимая жажда. Он залпом осушает одну кружку воды за другой, заливая огромное количество пива и белого вина, которое он с утра уже успел выпить в трактире.

Во дворе слышатся шаги. Это возвращается кузнец.

— Христиан! Отец идет! Скорей спрячься, а я поговорю с ним, объясню ему...

Мать толкает сына в угол, за большую изразцовую печь, и снова принимается шить дрожащими от волнения руками. К несчастью, феска зуава осталась на столе и тотчас бросается кузнецу в глаза. Бледность жены, ее замешательство... Он понял все.

— Христиан здесь!.. — говорит он страшным голосом и, не помня себя, схватив палаш, бросается к печке, за которой, прислонясь к стене, чтобы не упасть, притаился бледный, как полотно, отрезвившийся зуав.

Мать бросается между ними.

— Лори, Лори! Не убивай его!.. Это я написала ему, чтобы он вернулся, что он нужен тебе в кузнице.

Она судорожно цепляется за руку мужа, рыдая, ползает на коленях за ним по полу. Во мраке соседней комнаты плачут дети, напуганные полными гнева и слез голосами, такими грозными, что мальчики не узнают их.

Кузнец останавливается и, пристально глядя на жену, говорит:

— Ах, значит, это ты его выписала?.. Ладно! Раз так, пусть ложится спать. Завтра я решу, что мне делать.

На следующее утро, после тяжелого сна, полного кошмаров и беспричинных страхов, Христиан просыпается в той самой комнатке, где он жил ребенком. Сквозь мелкие стекла в свинцовом переплете, сквозь цветущий хмель ударяют жаркие лучи солнца — оно уже высоко стоит на небе. Внизу, в кузнице, молот стучит по наковальне... Мать сидит у изголовья Христиана — она не отходила от него всю ночь, напуганная гневом мужа. Старый кузнец тоже

не ложился. До самого утра он ходил по дому, плакал, вздыхал, отпирал и запирали шкафы.

И теперь он с сосредоточенным видом, одетый по-дорожному, входит в комнату сына; на нем высокие гетры, широкополая шляпа, в руках узловатая палка с железным наконечником. Он идет прямо к постели.

— Ну, вставай! Живее!..

Сын в смущении хватается за свою форменную одежду.

— Не надевай ее, — сурово говорит отец.

— Но ведь у него ничего другого нет, — робко застывает мать.

— Дай ему мою одежду... Мне она больше не нужна.

Пока сын одевается. Лори тщательно складывает куртку, короткую жилетку, красные шаровары и, связав все в узел, надевает себе на шею плоскую жестяную коробочку, в которой хранится проходной лист...

— Теперь пойдём вниз... — говорит он, и все трое молча сходят в кузницу.

Мехи гудят, все за работой. Увидев вновь настезь раскрытый сарай, по которому он так скучал в Африке, зуав вспоминает детство, вспоминает, как часто он играл здесь между согретой солнечным теплом дорогой и кучей угольного мусора, где сверкали искры, долетавшие из кузницы. Его охватывает порыв нежности. Ему страстно хочется вымолить у отца прощение. Но, подняв глаза, он встречает все тот же неумолимый взгляд.

Наконец Лори говорит:

— Слушай, парень: вот наковальня, вот инструменты... Все это теперь твое... И это все тоже!.. — прибавляет он, указывая на залитый солнцем, полный жужжащих пчел садик, виднеющийся сквозь почерневший от дыма проем двери. — Ульи, виноградники, дом — все принадлежит тебе... Уж если ты ради всего этого пожертвовал своей честью, ты должен по крайней мере этим владеть... Теперь ты здесь хозяин... Я ухожу... Ты должен был служить Франции пять лет — я отслужу их за тебя.

— Лори, Лори! Куда ты идешь? — в отчаянии кричит несчастная женщина.

— Отец!.. — умоляет Христиан.

Но кузнец уже ушел. Он шагает быстро, не оглядываясь...

В Сиди-Бель-Абесе в казарме 3-го полка зуавов несколько дней назад появился доброволец; ему пятьдесят пять лет.

ПАРОМ

© Перевод А. Зельдович

До войны здесь был красивый висячий мост на двух быках из белого камня и с просмоленными канатами; канаты уходили вдаль, к просторам Сены, создавая то впечатление воздушности, которое так украшает аэростаты и морские суда. Под высокими средними арками дважды в день проходили в клубах дыма караваны шаланд и барж —

буксирам даже не приходилось опускать трубы. — У берега — мостки для полоскания белья и привязанные к кольцам рыбацьи лодки. К мосту вела аллея тополей, похожая на натянутый в полях длинный зеленый занавес, колеблемый легким ветерком с реки. Вид был прелестный...

В этом году все изменилось. Тополя хоть и стоят на прежнем месте, но ведут в пустоту. Моста больше нет. Оба его быка взорваны, и лишь груды разбросанных камней напоминают об их недавнем существовании. Беленькая будка, где взималась плата за проезд, наполовину снесена взрывом и напоминает свежую руину — не то баррикаду, не то разбираемое на слом строение. Канаты и проволока печально мокнут в реке. Осевший в песок настил моста выдается из воды наподобие затонувшего судна, торчащий из него красный флаг предупреждает проходящие баржи об опасности. Все, что несет с собой Сена, — скошенная трава, обломанные ветки, гнилые доски — застревает здесь и образует омуты и водовороты. В этом пейзаже чувствуется какой-то провал, в нем словно зияет дыра, наводящая на мысль о бедствии. А даль кажется еще печальнее, ибо аллея, которая вела к мосту, сильно поредела. Все эти тополя, прежде такие красивые и густые, а теперь до самых вершин объединенные гусеницами — деревья ведь тоже подвергаются вражеским нашествиям, — простирают свои голые, обглоданные ветви. Над широкой дорогой, пустынной и ненужной, лениво летают большие белые бабочки...

В ожидании, пока отстроят мост, поблизости соорудили паром — нечто вроде огромного плота. На нем устанавливают запряженные телеги, рабочих лошадей с плугами и коров, которые при виде колыхающейся воды таращат свои спокойные глаза. Скот и повозки занимают середину парома, а по краям размещаются люди — крестьяне, дети, едущие в городскую школу, парижане, живущие на даче. Тут же конская сбруя, тут же дамские вуали и ленты, развевающиеся на ветру. Вся эта картина напоминает плот, на котором спаслись потерпевшие кораблекрушение. Паром медленно плывет по реке. От долгой переправы Сена кажется еще шире, чем обычно. За развалинами рухнувшего моста, между берегами, как будто чуждыми друг другу, горизонт расширяется с какой-то скорбной торжественностью.

В то утро мне понадобилось очень рано переправиться через реку. Будка перевозчика — снятый с колес старый железнодорожный вагон, врытый в серый песок, — вся окутанная туманом, была еще закрыта. Из будки доносился детский кашель.

— Эй, Эжен!

— Иду, иду! — послышался голос перевозчика, а затем появился он сам и, волоча ноги, пошел мне навстречу. Это был рослый, сравнительно еще молодой моряк. В последнюю войну он служил артиллеристом и вернулся, получив ревматизм и осколок снаряда в ногу; лицо у него было изуродовано шрамами. Увидев меня, он улыбнулся.

— Уж тесно-то нам сегодня не будет, сударь.

И правда: кроме меня, на пароме никого не было. Но пока перевозчик отвязывал канат, подошли люди. Первой подоспела толстая ясноглазая Фермерша, которая ехала в Корбейль с двумя большими надетыми на руки корзинами, выпрямлявшими ее дородную фигуру и придававшими твердость и уверенность ее походке. За нею на проселочной дороге показались и другие путники; их трудно было различить в тумане, но голоса доносились явственно. Среди них выделялся женский голос, робкий и слезливый:

. — Ах, господин Шашиньо, прошу вас: не обижайте вы нас!.. Вы же видите, что он теперь работает... Потерпите с долгом... Он только об этом вас и просит...

— Я и так довольно ждал... Больше не намерен, — послышался злобный голос беззубого старика. — Дело теперь за судебным приставом. Пусть разбирается, как знает... Эй, Эжен!

— Это старый прохвост Шашиньо... — вполголоса сказал мне паромщик. — Вон он! Вон он!

Я увидел на берегу высокого старика, нарядившегося в сюртук из грубого сукна и новехонький цилиндр с высокой тульей. Этот крестьянин с опаленным солнцем, обветренным лицом и загорелыми от полевых работ руками казался в городском платье еще более черным и загоревшим. Упрямый лоб, длинный, крючковатый, как у индейца, нос, поджатые губы и ехидные морщинки придавали ему жестокое выражение, вполне соответствовавшее звучанию его имени.

— Ну, Эжен, поехали! — прыгнув на паром, скомандовал старик дрожащим от злобы голосом.

Пока перевозчик возился с канатом, к нему подошла фермерша:

— Вы на кого это сердитесь, дядюшка Шашиньо?

— А, это ты, Бланш? И не говори! Я в бешенстве. И все из-за этих мерзавцев Мазилье...

Он показал на тщедушную женскую фигурку — женщина плелась обратно и плакала.

— Чем же они перед вами провинились?

— Чем провинились? А тем, что вот уже целый год не платят ни за квартиру, ни за вино, гроша из них не вытянешь!.. Я еду к судебному приставу: пусть вышвырнет этих нищих на улицу!

— А ведь Мазилье — человек неплохой. Может, он и не виноват» что вам не платит... Ведь столько народу разорилось за эту войну!

Тут старика словно прорвало:

— Дурень он, вот что!.. Он мог разбогатеть на пруссаках. Но он, изволите ли видеть, не захотел... Как только они пришли, он закрыл свою лавочку и снял вывеску... Другие трактирщики золото загребали лопатой во время войны, а он не наторговал ни на грош... Этого мало. За свои дерзости он угодил в тюрьму... Дурень, как есть дурень!.. И чего он лез! Он ведь даже и солг датом-то не был!.. Продавал бы себе водку да вино, теперь ему было бы чем со мной расплатиться... Мерзавец! Я ему покажу, как корчить из себя патриота!

Побагровев от злости, он размахивал руками с неуклюжестью крестьянина, который привык к рабочей блузе и которому тесно в парадном сюртуке.

В ясных глазах фермерши, за минуту до этого полных жалости к Мазилье, появилось холодное, почти презрительное выражение. Она ведь тоже была крестьянка, а крестьяне не уважают тех, кто не желает зарабатывать деньги. Сперва она сказала: «Жену жалко», затем: «Правильно! Не надо отказываться от своего счастья», а в заключение: «Ваша правда: должен — плати». А Шашиньо все еще повторял сквозь зубы:

— Дурень... Одно слово — дурень...

Перевозчик прислушивался к их разговору; не переставая действовать багром, он счел нужным вставить:

— Полно вам сердиться, дядюшка Шашиньо!.. Ну, какая вам польза от судебного пристава?.. Много ли выиграете вы от того, что имущество бедняков пойдет с молотка? Повремените — ведь вам же не до зарезу нужны деньги.

Старик обернулся таким резким движением, как будто его кто-то укусил:

— Молчать, лодырь ты этакий! Ты ведь тоже у нас патриот! Глаза бы не глядели! Пятеро детей, ни гроша за душой, а еще вздумал палить из пушек, когда его никто не просил!.. Нет, правда, сударь (негодяй, по-видимому, обращался ко мне), какая нам от этого была выгода? Вот он, к примеру, добился того, что ему починили рожу, да еще в придачу потерял хорошее место... Теперь живет, как цыган, в будке — там ветер так и гуляет, ребятишки все время болеют, а жена надрывается, стирает... Ну разве не дурень?

Перевозчик вспыхнул от гнева. Я заметил, что на его побледневшем лице шрам выступил еще резче и побелел. Но у него хватило самообладания сдержаться, он обрушил свой гнев на багор, погрузив его так глубоко в песок, что он чуть не сломался. Еще одно слово, и он мог бы лишиться и этого места, так как г-н Шашиньо пользуется влиянием в округе: он член муниципального совета.

ЗНАМЕНОСЕЦ

© Перевод Н. Касаткиной

I

Полк выстроился в боевом порядке на железнодорожной насыпи, и теперь он служил мишенью для всей прусской армии, сосредоточенной напротив, у леса. Люди расстреливали друг друга на расстоянии восьмидесяти метров. Офицеры кричали: «Ложись!..» Но никто не слушался команды, горделивый полк стоял прямо, сплотившись вокруг своего знамени. На широком фоне солнечного заката, пастбищ и колосющихся нив эта кучка измученных людей, которую заволакивало дымной мглой, напоминала стадо, застигнутое среди поля первыми порывами жестокой бури.

И каким же градом свинца поливало эту насыпь! Только и слышен был треск ружейной пальбы, глухой стук скатывавшихся в ров солдатских котелков, да пули протяжно звенели вдоль всего поля битвы, точно натянутые струны зловещего и гулкого инструмента. Время от времени полковое знамя, колыхавшееся над головами от вихря картечи, ныряло в клубы дыма. Тогда, покрывая пальбу, стоны и проклятия раненых, раздавался строгий и гордый окрик: «Знамя, ребята, знамя!» И тотчас фигура офицера, точно тень, бросалась вперед, в кровавый туман, и доблестный стяг, ожив, снова взвивался над полем битвы.

Двадцать два раза падало оно!.. Двадцать два раза его древко, едва выскользнув из безжизненной руки, подхватывалось и выравнивалось снова, и когда после захода солнца горстка людей — все, что осталось от полка, — решилась наконец отступить, знамя было уже лоскутом в руках сержанта Орню, двадцать третьего знаменосца за этот день. II

Сержант Орню был старый вояка, едва умевший подписать свою фамилию и прослуживший двадцать лет, прежде чем получить унтер-офицерские нашивки. Все злоключения ребенка-найденыша, вся тупая муштра казармы запечатлелись на атом низком, упрямом лбу, на согнутой от ранца спине, на привычной выправке строевого солдата. К тому же он заикался, но, чтобы быть знаменосцем, красноречия не требуется. Вечером, после сражения, полковник сказал ему:

— Раз знамя у тебя, пусть у тебя и останется.

И на его убогую походную шинель, успевшую выцвести от дождя и пороха, маркитантка тотчас же нашла золотой галун подпоручика.

Это было единственное торжество за всю его долгую скромную жизнь. Плечи старого солдата тотчас расправились. Горемыка, привыкший гнуть спину и смотреть в землю, теперь шагал

приосанившись и глядел вверх на этот обрывок материи, стараясь держать его как можно прямее, как можно выше — над смертью, над изменой, над поражением.

Вряд ли видели вы кого-нибудь счастливее Орню, когда он во время сражения обеими руками держал древко, прочно всаженное в кожаный наконечник. Он не говорил ни слова, не шевелился, он был важен, как жрец, держащий в руке священный сосуд. Вся жизнь его, вся сила была в пальцах, что сжимали чудесный золоченый лоскут, на который сыпались пули, да еще в глазах, вызывающе глядевших прямо в лица пруссакам и как бы говоривших: «Попытайтесь-ка отнять его у меня!..»

Никто и не пытался, даже смерть. Из самых кровопролитных сражений при Борни, при Гравелоте[5] знамя выходило изрубленным, продырявленным, сквозным от ран; но нес его неизменно старик Орню. III

Затем настал сентябрь. Армия под Мецем,[6] окружение и долгая стоянка в грязи, где пушки ржавели, где лучшие в мире войска, деморализованные бездействием, отсутствием пищи и вестей, погибали от лихорадки и тоски подле своих орудий... Ни командиры, ни солдаты ни на что больше не надеялись, один Орню не терял веры. Трехцветный лоскут заменял ему все, и пока старый солдат чувствовал его тут, рядом, он считал, что еще ничто не погибло. На беду, так как сражений больше не было, полковник держал знамя у себя в одном из предместий Меца, и несчастный Орню походил на мать, ребенок которой отдан в чужие руки. Он неустанно думал о нем. И вот, когда тоска совсем его заедала, он не переводя духа спешил в Мец и, удостоверившись, что знамя стоит спокойно на прежнем месте у стены, возвращался, набравшись мужества и терпения, принося в свою намокшую палатку мечты о битвах, о наступлении, о том, чтобы трехцветное полотнище, развернутое во всю ширь, развевалось над прусскими траншеями.

Приказ по войскам маршала Базена положил конец этим иллюзиям. Проснувшись однажды утром, Орню увидел, что весь лагерь в движении, солдаты собираются кучками, волнуются, подзадоривают друг друга выкриками, грозят кулаками в сторону города, как бы уличая виновника своего гнева. Раздавались возгласы: «Долен его!.. Расстрелять!..» И офицеры не останавливали солдат... Они шагали в сторонку, потупив голову, словно стыдясь их. И в самом деле, разве не стыдно было огласить перед полторастатысячной армией солдат, прекрасно вооруженных, вполне боеспособных, приказ маршала о сдаче врагу без боя?

— А знамена? — побледнев, спросил Орню.

— Знамена должны быть сданы, как и все прочее: ружья, остатки обоза — словом, все.

— Раз-раз-рази их гром!.. — заикаясь, произнес бедняга Орню. — Ну уж моего им не видать.

И пустился бегом в город. IV

Там тоже царило оживление. Национальные гвардейцы, мобили и горожане роптали, возмущались. Дрожа от негодования, шли депутации к маршалу. Но Орню ничего не видел, ничего не слышал. Он шагал по улице и ворчал:

— Отнять у меня знамя!.. Как бы не так! Как он смеет! Кто ему дал право? Пускай отдает пруссакам свое собственное добро, золоченые кареты и драгоценную посуду из Мексики![7] А это мое... В нем моя честь. К нему я не позволю прикоснуться.

Старик бросал эти прерывистые слова, заикаясь и задыхаясь от быстрой ходьбы, но мысль у него была вполне определенная, вполне ясная: взять знамя, унести его в полк и прорваться сквозь ряды пруссаков со всеми, кто захочет последовать за ним.

Когда он пришел, его даже не впустили. Полковник сам был в бешенстве и никого не желал

видеть... Но Орню стоял на своем. Он ругался, орал, отталкивал вестового:

— Где мое знамя?... Давай сюда мое знамя!..

В конце концов распахнулось одно из окон:

— Это ты, Орню?

— Да, господин полковник, мне бы...

— Все знамена в Арсенале... Ступай туда, тебе дадут расписку...

— Расписку?... А на что мне расписка?..

— Таков приказ маршала...

— Так я же...

— Убирайся к черту!

И окно захлопнулось.

Старик Орню зашатался, как пьяный.

— Расписка... расписка... — машинально бормотал он.

Наконец он снова пустился в путь, помня только одно: знамя — в Арсенале и надо его оттуда выволить во что бы то ни стало. V

Ворота Арсенала были распахнуты, в них въезжали прусские повозки и выстраивались среди двора. Войдя, Орню затрепетал. Все остальные знаменосцы, пятьдесят или шестьдесят офицеров, стояли уже тут, скорбные, молчаливые. И эти мрачные фуры под дождем и люди с обнаженными головами позади них — все напоминало похороны.

В углу двора, на грязных камнях, были свалены все знамена армии Базена. Какое грустное зрелище представляли эти лоскутья яркого шелка, эти обрывки золотой бахромы, обломки резных древков, все эти атрибуты славы, брошенные наземь, мокрые, забрызганные грязью! Кто-то из военных чиновников брал их одно за другим, и каждый знаменосец, когда называли его полк, подходил за распиской. Двое прусских офицеров, надменных и невозмутимых, наблюдали за погрузкой.

Итак, вы покидали нас, священные лохмотья славы, зияя дырами, печально волочась по камням, точно птицы с поломанными крыльями. Вы покидали нас, оставляя горькое чувство стыда, как все прекрасное, когда его марают, и каждое из вас уносило с собой частицу Франции. Солнце дальних походов укрылось среди ваших полинялых складок. В следах от пуль вы сберегли память безвестных мертвецов, павших под стягом, в который метили враги...

— Орню!.. Твой черед!.. Тебя зовут... Иди за распиской...

Ему в самом деле хотели вручить расписку!

Знамя было перед ним. Это и впрямь было его знамя, самое прекрасное, самое истерзанное... При виде его старому солдату почудилось, что он все еще стоит на высокой насыпи, пули звенят, громяют пушки и слышится голос полковника: «Знамя, ребята!» Двадцать два его товарища лежат на земле, а сам он, двадцать третий, бросается поднять, поддержать злосчастное знамя, которое шатается без опоры. Да, в тот день он поклялся защищать и хранить его до самой смерти. А сейчас...

При этой мысли вся кровь его сердца хлынула к голове. Как пьяный, как безумный, бросился он на прусского офицера, вырвал свой возлюбленный стяг, ухватился за него обеими руками, попытался поднять его вновь как можно выше, как можно прямее и закричал:

— Знамя, ре...!

Но крик застыл у него в горле. Он почувствовал, что древко колеблется, выскальзывает у него из рук. В этом душном воздухе, в этом воздухе смерти, который тяжким гнетом нависает над городами, сданными неприятелю, знамена не в силах были развеяться, ничто благородное не в силах было жить... И старик Орню упал мертвый.

ЭЛЬЗАС! ЭЛЬЗАС!

© Перевод Н. Касаткиной

Несколько лет тому назад я совершил путешествие по Эльзасу, и от него осталось у меня одно из самых светлых воспоминаний. Конечно, я говорю не о нудной поездке по железной дороге, которая оставляет в памяти обрывки пейзажа, перерезанные рельсами и телеграфными проводами, — нет, я имею в виду пешее путешествие с мешком за плечами, с крепкой палкой и не слишком говорливым спутником. Вот когда получаешь настоящее наслаждение и накрепко запоминаешь все виденное кругом!

Теперь, особенно после того как Эльзас для нас закрыт, у меня то и дело всплывают впечатления от этого утраченного края со всей прелестью неожиданных открытий во время долгих прогулок посреди чарующего ландшафта, где леса встают зеленой завесой перед мирными селениями, залитыми солнцем, где за изгибом холма виднеются колокольни, пересеченные ручьями фабричные дворы, лесопильни, мельницы, а на сочной зелени равнины возникает яркий блик живописной одежды...

Каждое утро, едва рассветало, мы уже были на ногах.

— Мосье, мосье!.. Уже пятый час! — будил нас трактирный слуга.

Мигом вскакивали мы с постели и, застегнув заплечный мешок, оцупью спускались по деревянной лестнице, гулкой и хлипкой. Внизу, на обычной для постоялых дворов просторной кухне, где спозаранку разжигают очаг и где потрескивание хвороста напоминает об осенних туманах и запотевших окнах, мы перед уходом выпивали стаканчик вишневки. И сразу же в путь!

Первые минуты бывает трудновато. В этот ранний час еще сказывается вчерашняя усталость. И в воздухе и в голове еще не развеялся сонный дурман, но мало-помалу холодная роса испаряется, утренняя дымка улетучивается на солнце... А мы идем себе, шагаем... Когда начинало припекать, мы делали привал у ключа или ручейка и, позавтракав, засыпали в траве под плеск проточной воды, пока нас не будил, задев на лету, пулей просвиставший мимо шмель. Когда спадал зной, мы снова принимались шагать. Чем ниже спускалось солнце, тем короче становился наш путь. Теперь для нас главной целью был ночлег, и мы валялись без сил на кровать в трактире, или под навес на гумне, или возле стога под открытым небом, когда кругом попискивают птицы, шелестят в листве насекомые, чуть слышны чьи — то легкие прыжки, чей-то бесшумный полет, — словом, все те звуки ночи, которые сморенному усталостью человеку представляются началом сновидений...

Как назывались все те хорошенькие эльзасские деревеньки, мимо которых мы проходили?

Теперь уж я не припомню их названий, но все они были на один образец, особенно в департаменте Верхний Рейн, и, пересмотрев их в таком количестве, да еще в разное время дня, я готов поверить, будто видел одну-единственную: всюду главная улица, окошки со свинцовыми переплетами, увитые хмелем и розами, решетчатые двери, из которых, пытаясь огромными трубками, выглядывали старики и высовывались женщины, клича с улицы детей... Когда мы проходили рано утром, все это было погружено в сон, разве что услышишь, как шуршит солома в хлеву или рычат собаки в подворотне. Пройдешь две мили, и, смотришь, деревня просыпается. Со стуком распахиваются ставни, бренчат ведра; вода выплескивается в канаву; тяжело ступая и отгоняя хвостом мух, коровы идут на водопой. Еще дальше все та же деревня, но застывшая в безмолвии летнего полудня; только слышно, как гудят пчелы, забираясь по вьющимся побегам до самого конька кровли, и как в школе что-то бубнят нараспев. Иногда попадался, расположенный на отлете, уже не деревенский, а городской уголок: белый трехэтажный дом с новеньким страховым знаком, с табличкой нотариуса или со звонком к доктору. Мимоходом слух ловил звуки фортепьяно, мелодия старомодного вальса пробивалась сквозь зеленые жалюзи на залитую солнцем дорогу. Попозже, в сумерках, возвращалось стадо, шли домой рабочие с прядильни. Становилось шумно илюдно. Все обитатели высыпали на пороги своих домиков; белокурые ребятишки стаями носились по улице, а окна зажигались лучами заката, пробившимися невзведь откуда...

Как-то особенно радостно вспоминать мне эльзасскую деревню в воскресное утро, во время церковной службы. Улицы пустынные, в домах ни души, лишь кое — где старики греются у порога. Церковь полна народу, высокие окна озарены нежными, блекло-розовыми отблесками еле теплящихся на солнце свеч, песнопения волнами доносятся до прохожего. Церковную площадь проворно перебегают мальчик-певчий в пунцовом стихаре с непокрытой головой и с кадиллом в руке — он спешит позаимствовать огонька в пекарне...

Случалось, мы по несколько дней не заглядывали в деревню. Нас тянуло в лес, на тенистые тропы, в те сквозные рожицы по берегу Рейна, где его изумрудные воды уходят в топь, кишашую мошкаррой. Местами сквозь ажурную сетку ветвей нам открывалась могучая река, усеянная плотами и плоскодонками, которые были доверху нагружены травой, скошенной на островах, и сами теперь напоминали плавучие островки, уносимые течением. А дальше виднелся канал, соединяющий Рону с Рейном, обсаженный во всю длину грядой тополей, чьи зеленые верхушки сходятся между собой в этих по-домашнему укромных водах, зажатых в тесные берега. Кое-где на прибрежном откосе мелькнет хибарка зрителя при шлюзе, на перемычках шлюза резвятся босоногие ребятишки, и, вспенивая воду во всю ширину канала, медленно тянутся длинные плоты со сплавным лесом.

Устав от блуждания наугад, мы снова выходили на шоссейную дорогу, белую и прямую, огороженную тенистым орешником, дорога эта ведет к Базелю, оставляя по правую руку цепь Вогезов, а по левую — Шварцвальд.

Это Бавельское шоссе памятно мне чудесными привалами, когда в июльский зной мы лежали развалиясь на сухой траве в овражке у обочины, а у нас над головами перекликались куропатки и не умолкал заунывный дорожный шум. Ругнется проездом возница, брякнет колокольчик, скрипнет ось, застучит мотыга в руках рабочего, дробящего щебень, зацокают копыта — это конный полицейский несется вскачь, вспугивая стадо гусей, — разносчики ворчат под тяжелым тюком, почтальон в синем кителе, обшитом красным галуном, внезапно свернет с шоссе на проселок, окаймленный дикой изгородью; в конце его, должно быть, притаилась деревушка, ферма, скрытая от взоров жизнь...

А сколько приятных сюрпризов готовит пешее путешествие! Думаешь сократить путь и сделаешь крюк, примешь за дорогу колею, проложенную колесами, утопанную копытами, и упрешься в лужайку; стучишься в дверь, а ее не отворяют; придешь на постоянный двор, а там нет места, а то налетит ливень, благодатный летний ливень, и скоро пройдет, но после него в жарком воздухе долго еще будут дымиться поля, шерсть на скотине и даже балахон на

пастухе.

Мне вспоминается страшная гроза, которая застигла нас в лесу, на спуске с Баллон д'Альзас. Когда мы выходили из трактира, расположенного наверху, тучи были под нами. Только макушки высоких елей пробивались сквозь них. Но с каждым шагом вниз мы положительно погружались в непогоду, в ливень, град и ветер. Вскоре мы были окружены, опутаны сетью молний. Совсем рядом рухнула ель, в которую ударила молния, а сбегая опрометью по тропе, по которой возят на санках Дрова, мы сквозь завесу дождя заметили девочек, укрывшихся в расселине. Они в испуге жались друг к дружке, обеими руками придерживая пестрые ситцевые передники и плетеные лукошки, полные только что собранной голубики. Черные блестящие ягоды вспыхивали искорками, а черные глазенки, смотревшие на нас из расселины, напоминали влажную голубику. Огромная ель, простертая на косогоре, и раскаты грома, и лесные бродяжки, чумазые, но прелестные, — все это словно вышло из сказок каноника Шмидта...[8]

Зато как приятно было потом обогреться и обсушить одежду у пылающего очага в Руж-Гут, пока на огне шкварчала яичница, неподражаемая эльзасская яичница, хрустящая и румяная, как слоеный пирог.

А наутро после этой грозы за одним из поворотов дороги на Даннмарк я увидел глубоко поразившую меня картину: пышная нива, выбитая, скошенная, опустошенная ливнем и градом, разметала во все стороны сломанные стебли. Спелые, налитые колосья осыпались в грязь, и стая пичужек, налетая на загубленный урожай, суетилась на полегшей сырой соломе и раскидывала вокруг себя зерно. Среди ясного солнечного дня страшно было смотреть на этот разгром...

Долговязый, сутулый крестьянин, одетый на старинный эльзасский манер, молча созерцал свое разоренное поле. На лице его была написана подлинная скорбь и в то же время какая-то спокойная покорность, смутная надежда, как будто он утешал себя тем, что колосья хоть и полегли, но земля под ними, живая, изобильная, неизменная земля, остается ему, а покуда есть земля — отчаиваться не надо.

НАГРАЖДЕННЫЙ ПЯТНАДЦАТОГО АВГУСТА[9]

© Перевод Р. Томашевской

Однажды в Алжире, после дневной охоты, сильная гроза застигла меня вечером в долине реки Шелиф, в нескольких милях от Орлеанвиля. Кругом-насколько хватал глаз — не было видно ни деревьев, ни караван — сарая — одни лишь карликовые пальмы, чащи мастиковых деревьев да необозримые, протянувшиеся до самого горизонта пашни. К тому же Шелиф, вздувшийся после ливня, грозно ревел, и я рисковал провести ночь по колено в воде. К счастью, сопровождавший меня переводчик из Милианаха вспомнил, что совсем близко отсюда ютится за холмом одно из арабских племен. Переводчик хорошо знал вождя этого племени, и мы решили просить у него гостеприимства.

Арабские деревни, раскинутые в этой долине, так хорошо прячутся за кактусами и африканскими фиговыми деревьями, их низкие хижины так прижаты к земле, что мы очутились в центре дуара, сами того не заметив. То ли из-за позднего времени, то ли из-за непогоды, но там царил мертвая тишина... Местность показалась мне печальной и унылой; казалось, жизнь здесь замерла. На всем печать запустения. Пшеница и ячмень, всюду уже убранные, здесь лежали на полях, прибитые дождем и ветром, и гнили на корню. Брошенные плуги и бороны ржавели под дождем. На всем чувствовался отпечаток тоскливой апатии и

тупого равнодушия. Собаки — и те нехотя залаяли при нашем приближении. По временам из отдаленной хижины доносился детский плач, в чаще мелькала то стриженная голова мальчугана, то дырявый аик старика. Кое-где под кустами дрогли от холода ослики. Но нигде ни лошади, ни взрослого мужчины — как во времена опустошительных войн, когда всадники надолго покидали родные места.

Дом аги — длинное белое здание без окон — казался не более оживленным и обитаемым, чем все остальные дома. Конюшни были открыты настежь, стойла и ясли пусты, не было даже конюха, который позаботился бы о наших конях.

— Заглянем в мавританскую кофейню, — предложил мой спутник.

То, что обычно называют мавританской кофейней, — это гостиная в арабском поместье, предназначенная для приема приезжих гостей, это как бы отдельный дом в доме араба, где правоверные мусульмане, любезные и учтивые, находят возможность проявить свое врожденное радушие, всем оказать гостеприимство и при этом, как им повелевает закон, скрыть от постороннего взора тайны своей замкнутой семейной жизни. Кофейня аги Си-Слимана была открыта и безмолвна, как и его конюшни. Высокие выбеленные стены, военные трофеи, перья страуса, широкие низкие диваны вдоль стен зала — все это мокло под струями ливня, которые неистовый порыв ветра швырял прямо в открытую дверь... В кофейне, однако, были люди. Во-первых, служитель — старый кабил.[10] Одетый в лохмотья, он сидел на корточках, низко склонив голову, у потухшей жаровни. Затем сын аги — красивый болезненный мальчик; закутанный в черный бурнус, бледный и, видимо, лихорадивший, лежал он на диване; и две большие борзые собаки тихо лежали у его ног.

Когда мы вошли, никто не шелохнулся, только одна из собак еле пошевелила головой, а мальчик удостоил нас томным взглядом своих прекрасных черных глаз.

— А Си-Слиман где? — спросил переводчик.

Старик, подняв голову, сделал неопределенный жест, указывая на горизонт... Далеко, очень далеко... Мы поняли, что Си-Слиман отбыл в далекое путешествие. Но так как из-за дождя мы не могли продолжать наш путь, переводчик, обратившись к сыну аги, сказал, что мы, друзья его отца, просим дать нам приют до утра. Несмотря на болезнь, мальчик тотчас же встал, отдал служителю распоряжения, затем с учтивым видом, указывая на диван и словно говоря: «Вы-мои гости», — изысканно поклонился, как обычно кланяются арабы — нагнув голову и целуя кончики пальцев, — и, зябко кутаясь в бурнус, вышел из комнаты с таким достоинством, как если бы он сам был вождем племени и хозяином дома.

После его ухода служитель разжег жаровню, поставил на нее два крошечных кофейника, и пока он готовил кофе, нам удалось выведать у него некоторые подробности о длительном путешествии его господина и о причине странного запустения, в которое погрузилось все вокруг. С ужимками старухи кабил говорил на красивом гортанном языке, то торопился, то прерывал свою речь долгим молчанием, во время которого мы прислушивались к шуму дождя, крупными каплями падавшего на мозаичные плиты внутренних двориков, к шипению закипавших кофейников и к вою шакалов, во множестве бродивших по долине.

Вот что случилось с несчастным Си-Слиманом. Четыре месяца тому назад, пятнадцатого августа, он наконец получил пресловутый орден Почетного легиона, который он так долго ждал. В этой провинции он был единственным вождем племени, еще не имевшим ордена. Все остальные давно уже были награждены и имели чин офицера французской армии. Двое или трое из них удостоились даже широкой ленты командора, которую они носили на своем аике и в простоте душевной употребляли вместо носового платка, что мне довелось неоднократно наблюдать у Бах-ага-Буалема. Причиной, по которой Си-Слиману не удавалось получить орден, послужила давнишняя ссора, происшедшая у него за карточным столом с

начальником арабской канцелярии. А приятельские отношения среди алжирских военных имеют такую могущественную силу, что, хотя в течение десяти лет имя Си-Слимана значилось в списках лиц, представляемых к награде, его каждый раз обходили. Можно себе представить радость почтенного Си-Слимана, когда утром пятнадцатого августа посланный из Орлеанвиля спаги привез ему позолоченный ларчик и диплом ордена Почетного легиона и когда Байя, самая любимая из его четырех жен, прикрепила французский крест к его бурнусу из верблюжьей шерсти. Событие это вызвало во всем племени радость и веселье. Пирь чередовались с джигитовками. Звуки тамбурина и тростниковых дудочек раздавались всю ночь. Были и танцы и бенгальские огни, закололи бесчисленное множество баранов. В довершение всего знаменитый поэт из Джанделя сочинил в честь Си-Слимана превосходную кантату, которая начиналась так:

Ветер! Запряги своих коней.

Чтобы разнести повсюду эту радостную весть...

На следующий день, на рассвете, Си-Слиман созвал под ружье весь свой гум и во главе конницы отправился в город поблагодарить губернатора Алжира. Согласно обычаю, конница осталась ждать у ворот города. Ага явился в губернаторский дворец, был принят герцогом Пелисье[11] и выразил ему свою преданность Франции в торжественном восточном стиле, который слывет образным, потому что в продолжение трех тысяч лет все юноши сравниваются с пальмами, а все девушки — с газелями. Выполнив свой долг, Си-Слиман отправился в верхнюю часть города, чтобы все его увидели в полном блеске. По пути он помолился в мечети, одарил нищих деньгами, зашел к цирюльнику, к золотошвеям, закупил для своих жен духов, шелковых тканей с вышитыми на них цветами и листьями, шитых золотом голубых безрукавок и даже красные кавалерийские сапожки для своего юного аги. Он платил за все, не торгуясь, расточая свою радость полноценной, звонкой монетой. Потом его видели на базарах, где он с чашкой кофе сидел на турецких коврах, у лавок арабских торговцев, которые поздравляли его с наградой. Вокруг толпились любопытные. «Посмотрите, — говорили они, — вот Си-Слиман,

имберадор прислал ему крест». А молодые мавританки, возвращаясь с купанья и лакомясь сладкими пирожками, устремляли из-под белого покрывала долгие восхищенные взгляды на его серебряный крест. Что ни говорите, а в жизни все-таки бывают прекрасные минуты...

С наступлением* сумерек Си-Слиман стал собираться в обратный путь. Но едва он занес ногу в стремя, как посланный из префектуры верховой, запыхавшись, подскочил к нему:

— Вот ты где, Си-Слиман, а я тебя ищу... Скорей, скорей, губернатор хочет с тобой поговорить!

Не испытывая ни малейшей тревоги, Си-Слиман последовал за ним. Но, проходя по парадному двору мавританского дворца, он столкнулся со своим давнишним врагом, начальником арабской канцелярии, — тот прошел мимо него с ехидной усмешкой. Усмешка врага не на шутку испугала бедного Си-Слимана, и он, дрожа от страха, вошел в гостиную губернатора. Маршал встретил его, сидя верхом на стуле.

— Си-Слиман! — произнес он обычным для него грубым гнусавым голосом, который всех приводил в трепет. — Си-Слиман, дружок мой, мне очень жаль... но произошла ошибка... Наградили не тебя, а каида из племени зуг-зуг... Придется тебе вернуть крест.

Красивое бронзовое лицо аги вспыхнуло, как если бы он приблизился к пылающему горну.

Судорога пробежала по его могучему телу. Глаза сверкали... Но это была минутная вспышка. Овладев собой, он опустил глаза и низко поклонился губернатору.

— Ты наш повелитель, господин мой! — сказал он и, сорвав с груди крест, положил на стол. Руки у него дрожали, на длинных ресницах показались слезы. Старику Пелисье стало жаль его.

— Ничего, мой милый, в следующем году получишь, — сказал он, с подчеркнутым добродушием протягивая Си-Слиману руку.

Ага сделал вид, что не заметил протянутой руки, молча поклонился и вышел. Он хорошо знал цену обещаниям маршала; у него было такое чувство, что он навеки опозорен канцелярскими кознями.

Весть о немилости уже распространилась по всему городу. Евреи с Бабассунской улицы хихикали, провожая его взглядами. Арабские торговцы при встрече с ним отворачивались с видом сожаления, и это сострадание причиняло ему больше горя, чем насмешки. Он шел по городу, крадучись вдоль стен, выбирая самые глухие переулки. В том месте на груди, где еще так недавно висел крест, он ощущал жгучую боль, словно там была открытая рана.

«Что скажут мои воины? Что скажут мои жены?» — думал он.

При этой мысли его охватил порыв злобы. Жестокие планы мести зарождались в его голове. Ага уже видел, как он призывает к священной войне — там, на границе Марокко, вечно алой от пожаров и битв. Вот он на улицах Алжира во главе своего гума — они грабят евреев, убивают христиан, и он сам гибнет в этой страшной схватке, хороня вместе с собой и свой позор. Все казалось ему возможным, но только не это бесславное возвращение... Вдруг среди планов мщения молнией сверкнула в его сознании мысль об

имберадоре.

Имберадор !.. Для Си-Слимана, как для всякого араба, идея справедливости и могущества воплотилась в одном этом магическом слове. В глазах мусульман эпохи упадка это был подлинный защитник правоверных, а тот, другой, что в Стамбуле, издали казался им существом бесплотным, чем-то вроде незримого папы, сохранившего только духовную власть, а в наш век всем известно, чего стоит эта духовная власть.

Но

имберадор с его огромными пушками, зуавами и флотом!.. Си-Слиман почувствовал, что он спасен. Без сомнения,

имберадор вернет ему крест. Дело несложное — всего восемь дней пути. Поверив в успех своего предприятия, он решил оставить свою свиту дожидаться его у ворот города. На следующий день пароход уже вез его в Париж, и Си-Слиман был так сосредоточен и безмятежен, как будто совершал паломничество в Мекку.

Бедный Си-Слиман! Прошло четыре месяца, как он уехал, а в письмах к женам еще и речи нет о его возвращении. В продолжение четырех месяцев несчастный, обезумевший ага все бегал по министерствам и чувствовал себя затерянным среди парижских туманов. Всюду осмеиваемый, втянутый в ужасную систему зубчатых колес французской бюрократической машины, он метался из одного учреждения в другое и в тщетном ожидании высокой аудиенции пачкал свой белый бурнус на деревянных скамьях в министерских прихожих. По вечерам его можно было видеть в конторе меблированных комнат, когда он, печальный и осунувшийся, смешной в своем величии, приходил туда за ключом. Он подымался к себе, усталый от беготни и хлопот и все же гордый, не терявший своей величавой осанки.

Цепляясь за надежду, он ожесточался, как разорившийся игрок в погоне за утраченной честью...

А в это время его конница, расположившись у Бабассунских ворот, с восточным фатализмом ожидала своего начальника. Неподвижные стреноженные кони ржали на берегу моря. А во владениях аги вся жизнь замерла. Не хватало рабочих рук, и урожай погибал на корню. Женщины и дети, обратив свой взор в сторону Парижа, считали дни и часы. Сколько тревог, неосуществленных надежд и губительных последствий повлек за собой лоскуток красной ленты!.. И когда все это кончится?

— Один бог знает, — со вздохом закончил старый кабил, и сквозь полуоткрытую дверь его обнаженная рука указала на тонкий серп бледной луны, поднимавшейся на влажном небе над печальной долиной, погруженной в лиловый сумрак...

РЕГИСТРАТОР

© Перевод Р. Томашевской

— Бррр!.. Ну и туман!.. — говорит наш старичок, выходя на улицу. Он поспешно поднимает воротник пальто, прикрывает рот шарфом и, засунув руки в карманы, насвистывая, отправляется на службу в контору.

В самом деле, туман непроглядный. На улицах еще терпимо: в центре больших городов туман, как и снег, держится недолго. Он стелется по крышам, стены домов поглощают его, и, врываясь в открытые двери, он оседает на лестницах и перилах, которые становятся от этого мокрыми и скользкими. Движение экипажей и людей — несчастных торопливых утренних прохожих — рассеивает туман, дробит его, уносит. Он садится на убогую одежду мелких служащих, на накидки продавщиц из магазинов мод, на их обмякшие вуалетки и большие клеенчатые картонки. Но там, на набережных, еще пустых в этот час, на мостах, на крутом берегу широкой реки, там, за Собором Парижской богоматери, где солнечный свет напоминает тусклое мерцание ночника сквозь матовое стекло, — там туман становится густым, тяжелым, неподвижным.

Все же, несмотря на ветер и сильный туман, старичок идет на службу по набережной. Он мог бы пойти другой дорогой, но, видимо, река манит его, она имеет для него какую-то особенную, таинственную прелесть. Ему доставляет удовольствие идти вдоль парапета, едва касаясь каменных плит, отшлифованных локтями фланирующей публики. В такой ранний час и в такую погоду ее почти не видно. Изредка можно встретить женщину с тяжелой корзиной белья, остановившуюся у парапета передохнуть, или какого-нибудь чудака: перегнувшись, с тоскливым видом смотрит он на воду. Каждый раз при встрече с такими людьми старичок с любопытством вглядывается в них, а затем оборачивается к реке, как будто некая сокровенная мысль соединила в его сознании этих людей с рекой.

Неприветливо выглядит река в это утро. От тумана, поднимающегося над волнами, она кажется медлительной и тяжелой. Темные крыши домов на берегу, неровные, покосившиеся дымовые трубы, отражаясь, скрещиваются и дымят в воде, — это похоже на угрюмый завод, который со дна Сены напускает на Париж весь свой дым в виде густого тумана. Но старичку эта картина не кажется столь печальной. Сырость пронизывает его до костей, одежда промокла до нитки, а он все идет, насвистывая, с блаженной улыбкой. Он давно привык к туманам Сены. К тому же он знает, что, придя на службу, он найдет там теплый меховой мешок для ног, печку, которая весело потрескивает, поджидая его, и сковородку, на которой он каждое утро готовит себе завтрак. В этом и заключается вся утеха мелких служащих,

единственная радость узников, радость, понятная лишь тем обездоленным, у кого вся жизнь проходит в закутке.

«Не забыть яблок купить», — время от времени говорит он себе и все насвистывает и убыстряет шаг. Редко можно встретить человека, идущего на службу в таком веселом настроении.

Бесконечно тянутся набережные. Вот уже и мост. Старичок миновал собор. На этой стрелке острова туман еще плотнее, чем где-либо. Он надвигается с трех сторон сразу; наполовину обволакивая высокие башни собора, он сгущается у моста, как будто желая что-то скрыть в этом месте. Старичок останавливается — он пришел.

Какие-то зловещие тени смутно вырисовываются в тумане. Люди на тротуаре сидят на корточках, как бы в ожидании чего-то, а перед ними, точно у больничных оград и садовых решеток, рядами лежат на лотках сухари, апельсины, яблоки. О, как ярко блестят в тумане эти свежие красные яблоки!.. Он наполняет ими карманы, приветливо улыбается торговке, которая, поставив ноги на грелку, все же дрожит от холода. Затем в густом тумане он нащупывает дверь, открывает ее и входит во дворик, где стоит запряженная тележка.

— Для нас есть что-нибудь? — спрашивает он мимоходом.

Промокший до костей возчик отвечает:

— Да, сударь, кое-что приятное.

Старичок торопливо входит в контору. Вот где тепло и уютно! В углу гудит горячая печка; меховой мешок для ног — на своем месте, возле старого кресла, стоящего у окна. Туман, как легкая занавеска на окнах, пропускает ровный и мягкий свет. Толстые книги с зелеными корешками чинно выстроились на полках. Настоящий кабинет нотариуса!

Старичок облегченно вздыхает: он у себя.

Прежде чем приступить к работе, он раскрывает большой шкаф, достает люстриновые нарукавники, тщательно натягивает их, затем вынимает глиняную плошку, несколько кусочков сахара, оставшиеся после вчерашнего кофе, и, с чувством глубокого удовлетворения оглядевшись по сторонам, принимается чистить яблоки. В самом деле, трудно найти служебное помещение более веселое, более светлое и где царил бы такой образцовый порядок. Но только странно: со всех сторон доносится непрерывный шум воды; он окружает, обволакивает, оглушает, как если бы вы находились в корабельном трюме. Внизу бьется Сена, с ревом и грохотом ударяясь об устои моста и разбивая пенистые валы у самой стрелки острова, загроможденной сваями, досками и всякими обломками. Даже из соседнего помещения доносится шум льющейся из ведер воды, как будто там что-то моют упорно и долго. Не знаю почему, но этот шум хлещущей воды пронизывает вас холодом. Чувствуется, что вода ударяется об пол, подскакивая на каменных плитах, ударяется о мраморные столы, и от этого кажется еще холоднее.

Что они так старательно отмывают в этом странном доме? Какое несмываемое пятно?

По временам, когда поток воды стихает, оттуда доносится шум падающих одна за другой тяжелых капель, как это бывает при оттепели или после проливного дождя. Можно подумать, что туман, скопившийся на крышах и на стенах домов, от горячей печки тает и непрерывно падает крупными каплями.

Старичок не обращает внимания на эти звуки. Он занят своими яблоками, которые шипят в глиняной плошке, распространяя легкий приятный запах жженого сахара. И это милое шипенье отвлекает его от зловещего шума воды.

— Пожалуйте сюда, господин регистратор!.. — раздается в соседнем помещении хриплый голос.

Старичок смотрит на яблоки и нехотя выходит. Куда он идет? В полуоткрытую дверь на минуту врывается затхлый холодный воздух, пахнувший камышом и болотной тиной, и вот, как видение, промелькнула сохнувшая на веревках одежда — полинялые блузы, рабочие куртки и штаны, и тут же рядом ситцевое платье, повешенное за рукава, — вода стекает с него капля за каплей, капля за каплей.

Ну, все! Он возвращается к себе, кладет на стол промокшие вещи и, видимо, продрогнув, идет к печке отогревать красные от холода руки.

— Нужно быть сумасшедшим, чтобы в такую погоду... — говорит он, подрагивая. — И что это с ними такое?

Он совсем согрелся. Сахар в плошке густеет, и старичок усаживается у края стола завтракать. Во время еды он открывает конторскую книгу и с явным удовольствием перелистывает ее. Она содержится в таком порядке! Строчки ровные, заглавные буквы выведены синими чернилами, каждая страница прикрыта промокательной бумагой, и на каждой странице — отблеск золотистого песка, — одним словом, видна забота и безукоризненный порядок...

Дела, по-видимому, идут хорошо. У человечка довольный вид счетовода, отлично справившегося с годовым отчетом. Он все еще с наслаждением перелистывает книгу, как вдруг двери в соседнем помещении распахиваются, и оттуда доносится шум шагов, стучащих по каменным плитам пола. Говорят тихо, как в церкви:

— Такая молоденькая!.. Бедняжка!..

Народ толпится и шепчется...

А ему-то какое дело до того, что она молоденькая? Спокойно доедая яблоки, он поддвигает к себе принесенные вещи. Тут и наперсток, в который набился песок, и кошелек, в котором осталась одна медная монетка, и маленькие ножницы, до того заржавленные, что ими никогда уже нельзя будет пользоваться, — никогда! — наконец, расчетная книжка со слипшимися листками и обрывки письма, в котором буквы уже расплылись и в котором можно разобрать всего несколько слов: «Ребенок... денег нет... за месяц кормилице...» Регистратор пожимает плечами, как бы говоря: «Это мне знакомо...»

Затем берет перо, тщательно сдувает с книги крошки хлеба, усаживается поудобнее и красивым писарским почерком пишет имя, которое ему удалось разобрать на промокшем листке:

«Фелиси Рамо, красильщица, семнадцати лет».

ТРИСТА ТЫСЯЧ ФРАНКОВ, КОТОРЫЕ МНЕ ОБЕЩАЛ ЖИРАРДЕН[12]

© Перевод А. Зельдович

Не случалось ли вам выйти из дому с легким сердцем и, беспечной походкой побродив часа два по Парижу, вернуться домой подавленным, охваченным беспричинной тревогой, неизъяснимой грустью? Вы спрашиваете себя: «Что со мной такое?..» Но сколько бы вы ни ломали себе голову, объяснения так и не найти. Все как будто сошло удачно, на улице сухо,

пригревает солнышко, а между тем тоска гложет вам сердце, словно вы пережили что-то тяжелое.

Суть в том, что в огромном Париже, где люди в толпе чувствуют себя свободными и их не стесняют посторонние взгляды, вы не можете сделать шагу, чтобы не натолкнуться на какое-нибудь безысходное горе, которое забрызгает вас и оставит неизгладимый след. Я имею в виду не только невзгоды, которые нам хорошо известны, к которым мы не можем быть безучастными, — невзгоды, постигающие наших друзей: это ведь отчасти и наши горести, и сердце наше, когда мы встречаемся с ними, сжимается, словно от угрызений совести. Я говорю даже не о несчастьях людей нам чужих — мы слушаем о них краем уха, расстраиваемся безотчетно. Я имею в виду бедствия, совершенно нас не затрагивающие, на миг мелькнувшие перед нами в спешке и в сутолоке.

Это обрывки разговоров, перебиваемые стуком колес, озабоченность, ко всему слепая и глухая, которая говорит сама с собой, но во весь голос, поникшие плечи, порывистые движения, горящие лихорадочным блеском глаза, бледные, распухшие от слез лица, черный креп свежего траура. Потом еще мелочи, подхваченные на лету, едва заметные. Потертый, тщательно вычищенный, старающийся не бросаться в глаза воротник, безголосая шарманка, вертящаяся впустую где-нибудь у ворот; бархотка на шее горбуны, своим аккуратным бантиком беспощадно подчеркивающая уродливость плеч... Все эти картины чужого горя быстро улетучиваются из памяти, и вы забываете их тут же, на ходу, но они задели вас своей печалью, ваша одежда пропиталась тоскою, которую они влачат за собой, и к концу дня вы чувствуете, что они всколыхнули всю жалость и сострадание, таившиеся на дне вашей души, ибо вы, сами того не сознавая, где-нибудь на перекрестке или у порога дома зацепились за невидимую нить, которая связывает воедино все человеческие горести, и, задетая в одном месте, она вздрагивает вся.

Я думал об этом как-то на днях утром — ведь Париж главным образом по утрам обнаруживает свои язвы, — глядя на шедшего впереди меня человека в жалком, кургузом пальтишке, подчеркивавшем длину его шагов и придававшем неестественность всем его движениям. Согнувшись в три погибели, качаясь, словно колеблемое ветром дерево, человек шел быстро. Время от времени он опускал руку в карман, отламывал кусочек хлеба и тут же съедал, но украдкой, словно ему было стыдно есть на улице.

Вид каменщиков, сидящих на тротуаре и с удовольствием уплетающих краюху свежего хлеба, пробуждает во мне аппетит. Мелкие служащие тоже будят во мне зависть, когда они, заложив перо за ухо, оживленные завтраком на свежем воздухе, бегут из булочной к себе в контору. Но здесь проглядывал стыд истинно голодного человека. Жалко было смотреть на этого бедняка, клавшего себе в рот крошки хлеба, которые он отщипывал от куска, запрятанного глубоко в карман.

С минуту я следил за ним, и вдруг, как это бывает с неудачниками, он внезапно переменял мысли и направление, повернул обратно и едва не столкнулся со мной.

— Это вы? Какими судьбами?..

Когда-то я его немного знал. Делец из тех, которых много в Париже, прожектер, основатель сногшибательных газет, сумевший за короткое время создать себе громкую рекламу и вызвать шум в печати, он месяца два тому назад потерпел крах и как в воду канул. В продолжение нескольких дней на месте его исчезновения расходились широкие круги, затем водная поверхность сгладилась, выровнялась, и о нем перестали говорить.

Увидев меня, он смутился и, дабы предупредить расспросы, а также чтобы отвести мой взгляд от своей непрезентабельной одежды и дешевого хлеба, заговорил быстро-быстро, деланно веселым тоном: дела его хороши, очень хороши... Это была лишь временная

заминка. В настоящий момент у него в руках новое, замечательное дело... Большая промышленная газета с иллюстрациями... огромный капитал, наивыгоднейшие объявления!.. Лицо его все оживлялось. Спина выпрямилась. У него появился покровительственный тон, словно он уже сидел в редакторском кабинете и заказывал мне статью.

— Понимаете, — с торжествующим видом продолжал он, — это дело верное... Я в него вкладываю триста тысяч франков, которые мне обещал Жирарден!

Жирарден!

Это имя всегда появляется на устах у подобного рода фантазеров. Когда его произносят в моем присутствии, у меня перед глазами вырастают новые кварталы, недостроенные величественные здания, пахнущие свежей краской газеты со списком пайщиков и членов правления. Сколько раз приходилось мне слышать в связи с какими-нибудь безумными затеями: «Надо будет потолковать об этом с Жирарденом!..»

У этого бедняги, видимо, тоже явилась мысль «потолковать с Жирарденом». Он, наверное, всю ночь вынашивал свой план, выводил столбики цифр, после чего вышел из дому, и на ходу так взвинтил себя, и дело показалось ему до такой степени заманчивым, что в момент нашей встречи ему уже не верилось, чтобы Жирарден не дал ему трехсот тысяч франков. Говорят, что Жирарден обещал ему их, несчастный не лгал — он просто продолжал мечтать.

Пока он мне рассказывал, нас толкнули и прижали к стене. Разговор происходил на тротуаре одной из оживленных улиц Парижа, ведущей от биржи к банку и переполненной спешащими, рассеянными людьми, озабоченными лавочниками, бегущими выкупать векселя, биржевыми зайцами, на ходу шепотом называющими друг другу цифры. И когда он стал сообщать мне свои блестящие планы в толпе, в квартале спекулянтов, где так остро ощущаешь спешку и горячку азартной игры, меня охватила дрожь, словно я, находясь в открытом море, услышал рассказ о кораблекрушении. Я видел все, о чем рассказывал этот человек, читал историю его неудач на лицах других людей, узнавал его надежды, сиявшие в их блуждающих взорах...

Он покинул меня так же неожиданно, как и столкнулся со мной; он очертя голову бросался в водоворот безумств, мечтаний и лжи, в то, что все эти люди с серьезным видом называют «делами».

Через пять минут я уже забыл о нем, но вечером, придя домой и стряхнув с себя вместе с уличной пылью дневные тревоги, снова увидел перед собой его бледное, измученное лицо, дешевый хлеб и жест, сопровождавший его громкие слова: «Триста тысяч франков, которые мне обещал Жирарден!..»

ВЕЧЕР ПЕРВОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

© Перевод Н. Касаткиной

Переживания автора

В восемь часов — начало. Занавес поднимется через пять минут. Рабочие, режиссер, бутафор — все на своих местах. Актеры, участники первого явления, размещаются на сцене в соответствующих позах. Я в последний раз смотрю в глазок. Зал полон, полторы тысячи голов, расположенные амфитеатром, колышутся, поворачиваются на свету. Кое-кто смеется, кое-какие физиономии мне как будто знакомы, только выражение у них не совсем обычное.

Строгие, неприступные, придирчивые мины, бинокли уже нацелены на меня, как дула пистолетов. Вот, правда, в уголке несколько милых мне лиц, побледневших от волнения и ожидания, но несравненно больше равнодушных или предубежденных! И сколько эти люди принесли с собой всего извне, какую уйму посторонних мыслей, тревог, забот, опасений! Подумать только, что нужно все это рассеять, пробиться через заслон скуки, недоброжелательства, слить мысли тысячи людей в одну мысль, ибо пьеса моя получит право на существование лишь в том случае, если зажжет своей жизнью все эти неумолимые глаза... Мне хочется выждать, отсрочить поднятие занавеса. Но, увы, я опоздал. Уже прозвучало три удара, вступил оркестр... Потом минута полной тишины, и вот ко мне за кулисы доносится голос, глухой, далекий голос, который тонет в необъятности зала. Моя пьеса началась. Ах, несчастный, что ж это я наделал?..

Страшное мгновение! Не знаешь, куда бежать, как быть. Стоять столбом у кулисы, обратиться в слух и обмирая; ободрять актеров, когда сам не меньше их нуждаешься в ободрении, говорить, не понимая о чем, улыбаться с отсутствующим взглядом... К черту! Лучше уж пробраться в зал и посмотреть опасности в лицо.

Укрывшись в глубине ложи, я пытаюсь изобразить из себя стороннего, равнодушного зрителя, будто не я наблюдал целых два месяца, как вся пыль этих подмостков поднимается вокруг моего творения, будто не я выверял все жесты, оттенки голоса, мельчайшие подробности мизансцен, начиная с расположения дверей и кончая осветительным устройством. Удивительное состояние! Мне хочется слушать, но я не могу. Все мне мешает, все меня отвлекает. Кто-то щелкнул замком у дверей ложи, подвинул стул, один закашлялся, подхватил другой, третий, веера шелестят, шуршат шелка платьев; любой ничтожный шорох превращается для меня в грохот; в жестах и позах чудится враждебность. А недовольные спины, а скачущие растопыренные локти, которые заслоняют всю сцену!

Прямо передо мной какой-то юнец, с важным видом делая пометки в записной книжке, изрекает:

— Детский лепет!

В соседней ложе перешептываются:

— Имейте в виду: завтра.

— Завтра?

— Да, завтра, во что бы то ни стало.

Для этих людей, по-видимому, очень важно завтра, когда для меня существует только сегодня!..

В этом сумбуре ни одно слово моей пьесы не доходит, не попадает в цель. Вместо того, чтобы разноситься на весь зал, голоса актеров не идут дальше ramпы, они проваливаются в суфлерскую будку, меж тем как ретивая клака усердствует невпопад... Чем так разгневан господин в верхнем ярусе? Мне просто страшно. Лучше уж уйти.

И вот я на улице. Льет дождь, кругом темень, но я ничего не замечаю. Передо мной еще кружатся ложи и балконы с гирляндами освещенных голов и единственной неподвижной, ослепительно яркой точкой-сценой, которая меркнет с каждым моим шагом. Но сколько бы я ни ходил, ни старался отвлечься — передо мной все время маячит эта окаянная сцена, и действие пьесы, которую я знаю наизусть, неумолимо разворачивается, нудно тянется в моем воображении. Я словно вижу наяву дурной сон и приплетаю к нему встречных прохожих, сутолоку и шум улицы. Я сворачиваю на бульвар и вдруг замираю на месте, бледнею, услышав свисток. Какой я дурак! Это же станция omnibusов... И я шагаю дальше, а дождь

припускает, и мне кажется, что мою пьесу тоже заливает дождем, все расклеилось, раскисло, а мои герои, промокшие и пристыженные, шлепают за мной следом по тротуарам, блестящим от луж и света газовых фонарей.

Чтобы стряхнуть с себя мрачные мысли, я вхожу в кафе, пытаюсь читать, но буквы сталкиваются, прыгают, растягиваются, кружатся. Я не понимаю, что означают обыкновенные слова; они представляются мне нелепыми, бессмысленными. Помню, как несколько лет тому назад я пытался читать на море в штормовую погоду: забравшись под залитую водой рубку, я обнаружил английскую грамматику, и тут под грохот волн и ломающихся мачт, чтобы не думать об опасности, чтобы не видеть, как махины зеленоватой воды обрушиваются на палубу, распластаваясь по ней, я изо всех сил старался углубиться в изучение английского. Я и читал вслух и помногу раз выкрикивал слова — все равно они не лезли мне в голову, наполненную ревом моря и пронзительным свистом ветра на верхушках рей.

Газета, которую я сейчас держу в руках, мне так же непонятна, как та английская грамматика. Однако я до тех пор смотрю на развернутый газетный лист, пока между картинками и тесными строками передо мной не возникают строчки завтрашних статей, где мое горемычное имя барахтается в чаще терний и потоках ядовитых чернил... Внезапно прикручивают газ — кафе закрывается.

Как? Уже?

Который же час?

...На бульварах людно. Публика выходит из театров.

Должно быть, я сталкиваюсь с теми, кто видел мою пьесу. Мне хочется расспросить их, узнать правду, но я поскорее прохожу мимо, чтобы не слышать замечаний, высказанных вслух, и хлестких устных рецензий. Какие же счастливцы все те, кто может мирно идти домой, потому что не пишет пьес!..

Я добрел до театра. Двери заперты, огни погашены. Нет, сегодня вечером я уже ничего не узнаю, но бесконечная тоска охватывает меня при виде мокрых афиш и лампионов, еще мигающих у входа. Огромное здание, которое час тому назад своим светом и шумом заполняло целый угол бульвара, сейчас стоит немое, темное и безлюдное, залитое водой, как после пожара... Ну что ж! Все кончено. Полгода работы, вдохновения, усталости и надежд похоронено, погибло, развеялось в один вечер, спаленное огнями газовых рожков.

ПОХЛЕБКА С СЫРОМ

© Перевод А. Кулишер

Комнатка в шестом этаже — мансарда с окнами, глядящими в небо, на стекла которых струи дождя падают отвесно. Кажется, что сейчас, с наступлением ночи, окна эти вместе с кровлей тонут во мраке и ненастье. Но комнатка приветлива, опрятна; войдя в нее, испытываешь чувство уюта, в особенности если на улице бушует ветер и потоки дождя с шумом льются по водосточным трубам. Ты словно в теплом гнездышке, на макушке высокого дерева. Сейчас гнездо пусто. Хозяин отсутствует. Но, по-видимому, он должен скоро вернуться — все в комнате ждет его. На огне, тлеющем в камине, кипит, весело булькая, котелок. Час, несколько поздний для котелка, и хотя котелок, судя по его обгорелым, закопченным бокам, видывал виды, порою все же его терпение истощается. Крышка подскакивает, из-под нее вырывается душистый пар, и по комнате распространяется чудесный аромат.

Ах, как вкусно пахнет похлебка с сыром!.. временами огонь, затухающий в камине, снова вспыхивает, зола осыпается, обугленные поленья разгораются, язычки пламени пробегают вдоль решетки и освещают низ комнаты, словно производят смотр, чтобы убедиться, все ли в порядке. Ну, разумеется, все в образцовом порядке, хозяин может вернуться, когда ему вздумается! Репсовые занавески на окнах плотно задернуты, полог кровати ложится мягкими складками, у камина хозяина ждет большое покойное кресло. В углу — накрытый стол, аккуратно заправленная лампа, столовый прибор, а рядом с прибором — книга, неизменный товарищ одиноких трапез. И как обгорели бока котелка, как поблекли от мытья цветы на тарелках, так и книга немного помята по краям. На всех этих предметах трогательный, слегка усталый отпечаток давней привычки. Чувствуется, что хозяин комнаты всегда возвращается поздно и что ему дорог скромный ужин, который потихоньку кипит, сохраняя в комнате тепло и распространяя аппетитный запах.

Ах, как вкусно пахнет похлебка с сыром!

Присматриваясь к этой опрятной холостяцкой комнате, я представляю себе, что здесь живет чиновник из числа тех аккуратных людей, которые вносят в домашнюю жизнь точность служебного табеля и порядок нумерованных папок. Раз он возвращается поздно, значит, у него ночная служба на почте или на телеграфе. Я так и вижу его сидящим в люстриновых нарукавниках и бархатной шапочке за решетчатым окошком; вижу, как он сортирует и штемпелюет письма или разворачивает голубые полоски телеграмм, подготавливая парижанам — тем, кто спит, и тем, кто веселится, — все их дела на завтра... Нет, я ошибся. Совсем не то! Скользя по комнате, слабый свет камина озарил большие фотографии в золоченых рамах, развешанные по стенам. Одна за другой выступают из мрака величественно задрапированные фигуры: император Август,^[13] Магомет, правитель римской Армении Феликс; каски, венки, тиары, чалмы; и под всеми этими разнообразными уборами все то же величественное, гордое лицо — лицо хозяина этой обители, счастливого властелина, для которого на горячей золе тихонько варится ароматная похлебка...

Ах, как вкусно пахнет похлебка с сыром!..

О нет! Это не почтовый чиновник. Это император, владыка мира, один из тех избранных, кто в те вечера, когда ставят классические пьесы, потрясает своим мощным голосом своды Одеона. Стоит ему только сказать: «Стража! Схватить его!» — и стража повинуется. Сейчас он в своем дворце, по ту сторону Сены. В котурнах, в хламиде, он расхаживает по сцене, среди колонн, хмурит брови, со скучающим видом декламирует бесконечные классические тирады. Скучно играть перед рядами пустых кресел! Зала Одеона так обширна, и в ней так холодно в те вечера, когда идут трагедии!.. Но вдруг император, коченеющий в своей багрянице, чувствует, как по его телу пробегает живительный трепет. Глаза у него сверкают огнем, ноздри раздуваются. Он вспомнил, что его ждет теплая комната, накрытый стол, заправленная лампа — весь уют и порядок домашнего обихода, поддерживаемые с той чисто буржуазной педантичностью, которою актеры стремятся в частной жизни возместить некоторую беспорядочность жизни на сцене. В мыслях он уже снимает крышку с котелка и доверху наполняет разрисованную цветами тарелку...

Ах, как вкусно пахнет похлебка с сыром!..

С этой минуты он преображается. Тяжелые складки хламиды, мраморные лестницы, величественные портики — все это уже нисколько не тяготит его. Он оживляется, вносит больше пыла в свою игру, ускоряет течение действия. Подумайте: что, если там, дома, огонь погаснет?.. Видение с каждой минутой все приближается и воодушевляет его. О чудо! Его жар передается Одеону. Выйдя из своего сонного оцепенения, старые завсегдатаи первых рядов находят, что старик Маранкур бесподобен, особенно в последних сценах. И в самом деле: при наступлении развязки, в решающий момент, когда изменников закалывают, а принцесс выдают замуж, лицо императора поражает своим блаженным, умиленным

выражением. Проголодавшись от всех этих волнений и выпретенных тирад, он мысленно уже дома, у накрытого стола, и взгляд его переходит от Цинны к Максиму с благодушной, растроганной улыбкой, словно он уже видит перед собой тонкие белые нити, которые тянутся за ложкой, когда похлебка с сыром хорошо проварилась, в меру загустела и подана горячей...

ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА

© Перевод А. Кулишер

— Он умер!.. — говорит мне кто-то на лестнице.

Уже несколько дней я чувствовал, что страшная весть скоро придет. Я знал, что не сегодня-завтра столкнусь с ней у этой двери, и все же она поразила меня, словно неожиданный удар. С тяжелым сердцем, с дрожащими от волнения губами я вошел в скромную квартиру писателя, где рабочий кабинет занимал самую просторную комнату, где весь уют, вся безмятежность существования были принесены в жертву упорному труду.

Он лежал в этом кабинете на узенькой, низкой железной кровати. Стол, заваленный бумагами, страница, до половины исписанная его размашистым почерком, перо, торчащее в чернильнице, — все говорило о том, что смерть настигла его внезапно. За кроватью стоял высокий дубовый шкаф с приоткрытыми дверцами, битком набитый рукописями и бумагами; казалось, еще минута — и они обрушатся мертвецу на голову. Куда ни глянешь — книги, одни только книги. Они повсюду: на полках, на конторке, на стульях; груды книг заполняли все углы комнаты, лежали в ногах кровати. Когда он писал, сидя у стола, это нагромождение, этот беспорядок, возможно, радовали глаз: здесь чувствовалась жизнь, увлечение работой. Но теперь, когда в комнате лежал мертвец, впечатление было гнетущее, словно груды томов вот-вот рухнут, бедные книги улетят и, став частью той обширной библиотеки, судьбами которой правит случай, рассеются по аукционам, по книжным ларькам бережливцев, по лавкам букинистов, где их будут листать ветер и праздные люди.

Поцеловав покойника, я встал у кровати и, потрясенный прикосновением к холодному, тяжелому, как камень, лбу, устремил на него пристальный взгляд. Дверь распахнулась. В комнату, запыхавшись, вошел приказчик книжного магазина; он бросил на стол связку книг, только что отпечатанных, и звонко крикнул:

— Пакет от Башлена!

Затем, взглянув на кровать, отступил назад, снял шапку и потихоньку вышел.

Была какая-то страшная ирония в том, что издатель Башлен именно теперь прислал этот пакет — авторские экземпляры книги, выход которой запоздал на месяц. Больной ждал ее с таким нетерпением, а доставили ее мертвецу...

Бедный друг! Это была его последняя книга, та, на которую он возлагал самые большие надежды. Как тщательно руками, уже дрожавшими от лихорадки, он правил корректуру! Как ему не терпелось увидеть первый экземпляр! В последние дни, когда он уже не мог говорить, его взгляд все время был обращен на дверь. Если бы наборщики, корректоры, брошюровщики, все те, кто трудится над выпуском книги, созданной одним человеком, могли видеть этот полный мучительного ожидания взгляд, их руки двигались бы скорее, буквы быстро складывались бы в страницы, страницы-в главы, чтобы поспеть сюда вовремя, то есть одним днем раньше, и дать умирающему великую радость — вдохнуть свежий запах

новой книги и вновь обрести в четком шрифте ту мысль, которая — он это чувствовал-уже угасала и отлетала от него.

Даже в расцвете сил писатель находит в этом наслаждение и никогда им не пресыщается. Раскрыть первый экземпляр своей книги, увидеть свою мысль в законченном, выпуклом выражении, свободной от той неясности, которая всегда свойственна ей, пока она бурно кипит в мозгу, — какое это чудесное ощущение! В ранней молодости этот миг ослепляет нас. Буквы искрятся, отливают то голубым, то желтым цветом, точно солнце бьет нам прямо в глаза. Позднее к этой творческой радости примешивается легкая грусть, сожаление, что сказано не все, о чем хотелось сказать. Произведение, которое писатель вынашивал в себе, всегда кажется ему прекраснее того, которое он создал. Как много теряется во время этого перехода от мозга к руке! Стоит только заглянуть в свои сокровенные думы, и мысль, выраженная в книге, напомним вам прелестных медуз Средиземного моря, чьи смутные переливчатые очертания проступают сквозь воду. Но достаточно положить их на песок, и от них останется лишь немного воды, несколько бесцветных капель, мгновенно высыхающих от ветра.

Увы! Ни этих радостей, ни этих разочарований не дала бедняге его последняя книга. Печальное это было зрелище — безжизненная, тяжелая голова, покоившаяся на подушке, и тут же рядом свежая книга, которая завтра появится на витринах, услышит уличный шум, войдет в жизнь города. Прохожие машинально прочтут заглавие, сохранят его в памяти, в глубине глаз вместе с именем автора, тем самым именем, которое занесено в мэрии на страницу смертей и так радостно выделяется на светлой обложке. Казалось, загадка души и тела вся целиком заключена здесь, в этом недвижимом трупце, который будет предан земле, забыт, и в этой книге, которая отделилась от него, словно осязаемая, живая и, быть может, бессмертная душа...

— Он обещал мне экземпляр... — произнес рядом со мной чей-то плаксивый голос. Я обернулся и увидел поблескивавшие из-под золотых очков живые, зоркие глазки, хорошо знакомые мне, как, впрочем, и всем вам, друзья-писатели. Это так называемый любитель книг. Это он, когда появляется заметка о предстоящем выходе в свет вашего произведения, незамедлительно звонит у вашей двери — двукратный звонок, робкий и в то же время настойчивый, как и он сам. Он входит с улыбкой, низко кланяясь, юлит вокруг вас, называет вас «дорогим учителем» и не уйдет, пока не получит вашей последней книги. Он просит только последнюю. Все остальные у него имеются; ему не хватает только этой одной. Разве мыслимо ему отказать? Он приходит как раз вовремя. Он так умеет застать вас врасплох, в том блаженном состоянии, о котором мы говорили, когда автор расточает надписи, посвящения! Страшный маленький человечек, которого ничто не в силах отпугнуть — ни запертые двери, ни ледяной прием, ни ветер, ни дождь, ни расстояние! Утром его встречаешь на улице де ла Помп, где он робко стучится в невзрачную дверь патриарха Пасси,[14] вечером он возвращается из Марли с новой драмой Сарду[15] под мышкой. Вечно в бегах, вечно выпрашивая, он заполняет свою жизнь бездельем, а свою библиотеку — книгами, которые ему ничего не стоят.

Наверно, страсть к книгам необычайно сильна в нем, если она привела его сюда, к смертному одру писателя.

— Ну и берите ваш экземпляр! — сказал я с раздражением.

Он не взял книгу — он судорожно схватил ее. Потом, засунув в карман добычу, продолжал стоять неподвижно, не говоря ни слова, склонив голову набок, с растроганным видом протирая очки... Чего он ждал? Что его удерживало? Не чувство ли стыда? Быть может, ему неловко было уйти сразу, словно он пришел только ради книги?

Нет! Совсем не то!

В полураскрытом пакете на столе он разглядел несколько роскошных экземпляров, необрезанных, на плотной бумаге, с широкими полями, с виньетками и заставками. Несмотря на лицемерно-сосредоточенный вид, его взгляды и мысли были устремлены туда. Несчастный! Он даже скосил глаза!

Что значит, однако, страсть к наблюдениям! Я и сам отвлекся от своей скорби и сквозь слезы, застилавшие мне глаза, следил за жалкой комедией, разыгрывавшейся у ложа мертвеца. Любитель книг медленно, едва заметно приближался к столу. Его рука словно невзначай коснулась одного экземпляра. Он перевернул его, раскрыл, пощупал бумагу. Постепенно глаза его разгорались, кровь прилиwała к лицу. Чары книги действовали на него... Наконец он не выдержал и взял ее в руки.

— Это для господина де Сент-Бёв, — сказал он мне вполголоса, а затем, охваченный возбуждением, замешательством, быть может, даже боязнью, что у него отнимут книгу у, а быть может, желая убедить меня, что он действительно берет ее для господина де Сент-Бёв, веско, с непередаваемым оттенком почтительности в голосе, прибавил: — Члена Французской академии!..

И поспешил удалиться.

ДОМ ПРОДАЕТСЯ

© Перевод А. Кулишер

Над деревянной кое-как сколоченной калиткой, в широкой щели которой песок сада смешивался с пылью большой дороги, давно уже была прибита дощечка с надписью: «Дом продается». Летом она висела неподвижно под жаркими лучами солнца, осенью ее трепал и рвал ветер. Вокруг была такая тишина, что, казалось, дом не только продается, но уже покинут его обитателями.

Однако там кто-то жил. Сизый дымок, поднимавшийся из кирпичной трубы, которая немного выступала над каменной оградой, говорил о том, что здесь течет чья-то жизнь, столь же малозаметная, скромная и унылая, как дымок этого убогого очага. Да и в саду, видневшемся в щели между шаткими досками калитки, ничто не напоминало той заброшенности, той пустоты, того беспорядка, какие обычно предшествуют продаже или отъезду и возвещают об этих событиях. Там тянулись ровные, прямые дорожки, виднелись круглые беседки, у водоема хранились лейки, к стене дома были прислонены садовые инструменты. То был скромный крестьянский домик, прилепившийся к кособоку, двухэтажный с теневой стороны, одноэтажный — с солнечной. С этой стороны дом напоминал оранжерею. На ступеньках лежали груды стеклянных колпаков, опрокинутые пустые цветочные горшки. Другие горшки, в которых цвели герань и вербена, были аккуратно расставлены на горячем белом песке. Если не считать двух-трех больших язв, сад был весь на солнцепеке. Знойные лучи падали на фруктовые деревья, рассаженные шпалерами: листва их была разрежена, чтобы сочнее наливались плоды. Тут же росла клубника, а на высоких колышках вился горошек. Среди всех этих растений, среди покоя и порядка по дорожкам весь день кружил старик в соломенной шляпе; он без усталости подрезал, подчищал ветки и бордюры, а когда жара спадала, принимался за поливку.

Старик не вел знакомства ни с кем в околотке. У него никогда никто не бывал, кроме булочника, тележка которого останавливалась у каждого дома на единственной улице деревни. Иногда, прочитав объявление, какой-нибудь прохожий, подыскивавший себе участок на одном из пологих склонов, таких плодородных, словно они были созданы для фруктовых

садов, звонил у калитки. Сначала дом оставался безмолвным. После повторного звонка из глубины сада доносился стук деревянных башмаков; стук медленно приближался, и старик с сердитым видом приоткрывал калитку.

— Что вам угодно?

— Этот дом продается?

— Да, — с усилием отвечал старик. — Да... Он продается, но предупреждаю вас: за него просят очень дорого...

И рукой, готовой снова запереть калитку, он преграждал доступ в сад. Глаза его сверкали гневом, они выпроваживали вас. Он не двигался с места, охраняя, словно дракон, свои грядки и посыпанный песком дворик. Люди уходили и шли своей дорогой, спрашивая себя, что это за чудак, с которым им довелось столкнуться, и что за сумасбродство — объявлять, что дом продается, когда так страстно желаешь его сохранить.

Завеса над этой тайной для меня наконец приоткрылась. Однажды, проходя мимо домика, я услышал взволнованные голоса, громкий спор.

— Дом нужно продать, отец, его нужно продать... Вы дали нам слово.

И дрожащий голос старика:

— Да я, дети, и сам хочу продать... право! Ведь я вывесил объявление!

Таким образом я узнал, что на продаже дома настаивают сыновья и невестки старика, мелкие парижские лавочники. Это они требовали, чтобы он расстался с дорогим ему уголком земли. По каким причинам? Не знаю. Достоверно одно: они находили, что дело чрезмерно затягивается, и с этого дня начали приезжать каждое воскресенье, чтобы изводить несчастного старика, заставить его выполнить свое обещание. С дороги, в великом воскресном безмолвии, когда сама земля отдыхает от того, что всю неделю ее вспахивают и засевают, я отчетливо слышал их разговоры. Лавочники беседовали, спорили между собой, играли в «бочонок», и слово «деньги», произносимое их резкими голосами, отдавалось в ушах тем же металлическим звоном, с каким падали в лунки жестяные кружочки, которые они метали. Вечером все они уезжали. Проводив их немного, старик поспешно возвращался домой и с блаженным видом запирали калитку — впереди у него была неделя передышки. На целых шесть дней в доме снова водворялась тишина. В саду, залитом солнцем, слышался только хруст песка под тяжелыми шагами да шуршание граблей.

Однако старика с каждой неделей все сильнее торопили, все назойливее приставали к нему. Лавочники пускали в ход все средства, привозили внучат, чтобы растрогать его.

— Вот видите, дедушка, когда дом будет продан, вы переедете к нам. Нам будет так хорошо всем вместе!..

Они шушукались во всех углах, сновали по дорожкам сада, вслух занимались подсчетами. Однажды я услышал, как одна из невесток кричала:

— Лачуга не стоит пяти франков... Она только и годится, что на слом.

Старик все выслушивал молча. О нем говорили, словно он умер, о его домике — словно его уже снесли. Он ходил по саду сгорбленный, со слезами на глазах, по привычке высматривая, не нужно ли где на ходу подрезать ветку, снять плод. Чувствовалось: он в этом уголке земли пустил такие глубокие корни, что не в силах будет оторваться от него. И действительно, что бы ему ни твердили, он все откладывал свой переезд. Летом, когда зрели те кисловатые ягоды, которые отдают свежей зеленью, — вишни, крыжовник, черная и красная смородина,

— он говорил себе:.

— Подождем сбора... Потом я сейчас же продам все...

Но после сбора вишни наступал период персиков, затем винограда и, наконец, чудесного темно-коричневого кизила, который собирают чуть не под снегом. После этого наступала зима. Поля вокруг были черны, сад пуст. Ни прохожих, ни покупателей. Лавочки, и те уже не приезжали по воскресеньям. Три долгих месяца покоя, в течение которых нужно было приготовить семена, подрезать фруктовые деревья, а дощечка, никому не нужная, по-прежнему висела у калитки, омываемая дождем, колеблемая ветром.

Наконец дети старика потеряли терпение; они догадались, что он всячески отваживает покупателей, и решились на героическое средство: одна из невесток поселилась у свекра — вертлявая лавочница, с самого утра разряженная в пух и прах. У нее был тот приветливый, лицемерно-кроткий вид, та слащавая любезность, которые свойственны людям, привыкшим угождать покупателям. Казалось, она завладела большой дорогой. Она широко раскрывала калитку, громко разговаривала, улыбалась прохожим, как бы желая сказать:

— Зайдите!.. Взгляните!.. Дом продается!

Старику уже не было покоя. Иногда, пытаясь забыть о ее присутствии, он вскапывал грядки, засеивал их, как те смертельно больные люди, которые охотно строят планы, чтобы рассеять свои опасения. Лавочница неотступно следовала за ним и пилила его:

— К чему вам это?.. Что вы для чужих так стараетесь?

Он не отвечал и продолжал работать с поразительным упорством. Запустить свой сад значило бы уже частично потерять его, начать с ним расставаться. Вот почему на дорожках не было ни одной сорной травки, на розовых кустах ни одной лишней веточки. А между тем покупатели не являлись. То было время войны, и лавочница тщетно распахивала калитку, тщетно расточала улыбки в сторону большой дороги — там проезжали только возы с домашним скарбом, в калитку входила одна только пыль. День ото дня лавочница становилась все более злобной. Неотложные дела требовали ее возвращения в Париж. Я слышал, как она осыпала свекра упреками, устраивала ему сцены, хлопала дверьми. Старик молча горбился и утешал себя тем, что любовался на всходы горошка да разглядывал висевшую все на том же месте дощечку с надписью: «Дом продается».

...В этом году, приехав в деревню, я снова увидел домик, но — увы — дощечки уже не было. На ограде еще висели клочья разорванных, покрывшихся плесенью объявлений о продаже. Конечно, дом продали! На месте ветхой серой калитки стояла новая, свежеевыкрашенная в зеленый цвет, с полукруглым верхом, с зарешеченным отверстием, сквозь которое был виден сад. Но не прежний фруктовый сад, а мещанское нагромождение клумб, лужаек, миниатюрных каскадов, и все это отражалось в большом металлическом шаре, качавшемся перед крыльцом. В этом шаре гирляндами ярких садовых цветов изгибались дорожки и причудливо расплывались две громоздкие фигуры: краснолицый, обливающийся потом толстяк, утопавший в садовом кресле, и тучная, задыхавшаяся дама. Потрясая лейкой, она кричала:

— Я уже четырнадцать вылила на бальзамины!

Надстроили этаж, подновили забор, и в этой маленькой, заново отделанной усадьбе, где еще пахло краской, кто-то бешеным темпом барабанил на фортепьяно заигранные кадрили и польки. Танцевальные мотивы, доносившиеся до большой дороги и бросавшие в жар, удушливая июльская пыль, разгул ярких красок, тучная дама — все это хлеставшее через край пошлое веселье заставляло мое сердце сжиматься. Я вспоминал бедного старика, который, бывало, хозяйничал здесь, такой счастливый, такой спокойный. Я мысленно видел

его в Париже, его сутулую спину садовника, его соломенную шляпу, видел, как он бродит по полутемной комнате за лавкой, тоскующий, запуганный, задыхающийся от сдерживаемых слез, меж тем как его невестка торжествует за новеньким прилавком, где звенят деньги, вырученные от продажи дома.

ПАПА РИМСКИЙ УМЕР

© Перевод А. Поляк

Я провел детство в большом провинциальном городе, пересекаемом рекой, очень оживленной, судоходной рекой, благодаря которой у меня с ранних лет развилась страсть к путешествиям и жизни на воде. В особенности один уголок набережной у мостика Сен — Венсан я и теперь не могу вспомнить без волнения. Я так и вижу дощечку, прибитую к шесту: «Корне, лодки напрокат», уходящую под воду лесенку, скользкую, черную и мокрую, и у нижней ступеньки флотилию лодок, выкрашенных в яркие цвета. Они слегка покачивались, выстроившись в ряд, и, казалось, им придавали еще больше легкости выведенные белой краской на корме красивые названия: «Колибри», «Ласточка».

Вот мимо длинных, сверкающих свежими белилами весел, разложенных по откосу для просушки, идет дядюшка Корне с ведром и кистью; у него обветренное, облупившееся лицо, изборожденное сетью мелких морщин, словно поверхность реки в ветреный день... Ах, этот дядюшка Корне! То был злой гений моего детства, моя болезненная страсть, мой грех, моя нечистая совесть. Сколько я совершил преступлений ради его лодок! Я пропускал уроки в школе, я продавал свои книги — чего бы я только не продал ради одного послеобеденного катания на лодке!

Кинув на дно тетради, сняв куртку, сдвинув на затылок шапочку, так, чтобы речной ветерок ерошил мне волосы, я налегал на весла, насупившись, как старый морской волк. В пределах города я держался середины реки, на ровном расстоянии от обоих берегов, из страха, как бы кто-нибудь, не узнал старого морского волка. Какое блаженство — включиться в это непрерывное движение шлюпок, плотов, барж с лесом, буксирных пароходиков, которые то плыли рядом, то обходили друг друга, разделенные узкой полоской пены! Попадались и более громоздкие суда; когда они поворачивали, перемещалось и множество мелких суденышек.

Но вот рядом со мной раздавался стук пароходных колес, или сверху на меня надвигалась густая тень — то была высокая баржа, груженная яблоками.

— Эй, берегись, комар! — кричал хриплый голос, и я выгребался, весь в поту, захваченный суетой речной жизни, над которой жизнь улиц переливалась с одного берега на другой по пешеходным мостикам и мостам; там проползали омнибусы, их отражения в воде дробились под ударами моих весел... А сильное течение возле устоев мостов, а волны за кормою парохода, а водовороты и, наконец, знаменитая

яма смерти! Сами понимаете: нелегко было одолеть все это моим двенадцатилетним рукам, да еще без рулевого.

Иногда мне везло: я встречал «караван». Я быстро прицеплялся к концу длинного ряда барж, тащившихся на буксире, и пока мои весла покоились неподвижно, раскинутые, точно крылья парящей птицы, я отдавался быстрому, бесшумному движению, прорезавшему реку длинными полосами пены, а по обеим сторонам мимо меня проносились деревья и дома набережной. Далеко-далеко впереди слышались монотонные удары винта и собачий лай с

одной из барж; над ее низкой трубой вился легкой струйкой дымок. Все это создавало иллюзию настоящего путешествия и жизни на борту.

К сожалению, такие «караваны» попадались редко. Чаще всего приходилось упорно грести на солнцепеке.

О, эти полуденные лучи, отвесно падающие на реку, — я и сейчас еще чувствую их палящий жар! Все горит огнем, нестерпимо сверкает. В этой раскаленной, трепетной атмосфере, разлитой над волнами и колебавшейся при каждом их движении, струйки, стекавшие с моих весел и с мокрой бечевы, приподнимавшейся над водой, вспыхивали серебряным блеском. Я гроб с закрытыми глазами. Иногда по количеству затраченных мною сил и по шуму воды под лодкой мне казалось, что я двигаюсь очень быстро, но, подняв голову, я видел перед собой все то же дерево, все ту же стену на берегу реки.

Наконец после огромных усилий я, весь мокрый и красный от жары, выбирался за пределы города. Смех и крики купающихся, стук вальков на мостках, шум на плавучих пристанях замирали вдали. Все реже попадались мосты, река становилась шире. То тут, то там отражались в воде сады предместий и фабричные трубы. На горизонте маячили зеленые островки. В полном изнеможении я причаливал к берегу, среди шуршащих тростников. И там, истомленный солнцем, усталостью и удушливым жаром, поднимавшимся от воды, покрытой желтыми кувшинками, старый морской волк целыми часами унимал кровь, струившуюся у него из носа. Так неизменно кончались все мои путешествия. Но что поделаешь? Я не в силах был отказаться от них.

Обратный путь, возвращение — вот что было ужасно. Напрасно гроб я изо всех сил-я всегда являлся домой поздно, гораздо позже, чем кончались уроки в школе. Наступающие сумерки, мерцание газовых рожков в тумане, звуки вечерней зори — все усиливало страх и муки раскаяния. Я завидовал людям, спокойно возвращавшимся к себе домой; я бежал, у меня кружилась голова от воды и от солнца, в ушах гудело, как в морской раковине, и я заранее краснел при мысли о том, как я сейчас буду лгать.

А ведь мне каждый раз приходилось лгать в ответ на грозный вопрос: «Где ты был?» — поджидавший меня за дверью. Больше всего страшил меня допрос, который мне учиняли, когда я приходил домой. Я должен был ответить тут же, стоя на пороге, не, задумываясь, всегда иметь наготове какую-нибудь удивительную историю, рассказать что-нибудь удивительное, ошеломить так, чтобы пресечь дальнейшие расспросы. Таким образом, я выигрывал время, мог войти, перевести дух; чтобы достигнуть этого, я был готов на все. Я выдумывал государственные перевороты, всевозможные бедствия, страшные происшествия: полгорода в огне, железнодорожный мост рухнул в реку... Но однажды я превзошел самого себя. Дело было так.

В тот вечер я вернулся с большим опозданием. Мать давно уже подстерегала меня на верхней площадке лестницы.

— Где ты был? — крикнула она мне.

Трудно поверить, какая дьявольская хитрость может прийти в голову ребенку. Я не знал, что ответить, я ничего не придумал заранее: я слишком торопился... И вдруг у меня явилась безумная мысль. Я знал, что милая моя мама отличается крайней набожностью, что она ревностная католичка, и я выпалил, задыхаясь от волнения:

— Ах, мама!.. Если бы ты знала!..

— Что такое?.. Что еще случилось?

— Папа римский умер!

— Папа умер!.. — повторила бедная мама и, побледнев, прислонилась к стене.

Я быстро прошел в свою комнату, испугавшись и моего успеха и чудовищности моей лжи. И все же у меня хватило мужества держаться этой выдумки до конца. Я помню вечер, овеянный тихой скорбью утраты, — отец был серьезен, мать сражена горем... За столом говорили вполголоса. Я сидел, опустив глаза; среди общей печали о моем проступке совершенно забыли, никто даже не вспомнил о нем.

Каждый старался привести какой-нибудь эпизод, свидетельствовавший о высоких добродетелях усопшего Пия IX. Понемногу беседа перешла на разные события из истории пап. Тетя Роза рассказала о Пии VII; она хорошо помнила, как он проезжал по югу Франции в почтовой карете, окруженной конными жандармами. Вспомнили также пресловутую сцену у императора:[16]

Comcdiantef Tragediante!..[17] Я в сотый раз слушал эту историю, рассказываемую все с теми же интонациями и жестами, это стереотипное семейное предание, переходившее от поколения к поколению, наивное и незатейливое, как монастырская легенда. Но никогда еще оно не казалось мне таким занимательным.

Я слушал, лицемерно вздыхая, с притворным интересом задавая вопросы, и в то же время твердил про себя: «Завтра утром, когда они узнают, что папа жив, они будут так довольны, что ни у кого не хватит духу бранить меня».

Мысли путались, глаза сами собой слипались, и передо мной, как видение, вставали голубые лодочки, скованная тяжелым зноем Сона и снующие во все стороны по ее зеркальной воде длинные лапки водяных пауков, сверкающие, словно алмазы.

СОЧЕЛЬНИК В КВАРТАЛЕ МАРЕ

© Перевод Н. Касаткиной

Святочный рассказ

Г-н Монарх, владелец завода сельтерской воды в квартале Маре, отужинал в сочельник у друзей на Королевской площади и, напевая, возвращался домой... На колокольне церкви св. Павла пробило два. «Ох, как поздно!»-подумал почтенный заводчик и заспешил. Но панель обледенела, на улицах темень, а главное-этот окаянный старый квартал отстроен в те поры, когда экипажи были редки, и здесь что ни шаг, то закоулок, тупичок или тумба у крыльца для удобства всадников. Как тут пойдешь быстро, когда ноги и без того отяжелели, а в глазах туман от праздничных возлияний?.. Наконец г-н Монарх добрался до дому и остановился перед монументальными лепными воротами, где при свете луны блестит заново вызолоченный щит с подновленным гербом, который он превратил в свою заводскую марку:

ВЛАДЕНИЕ БЫВШЕЕ ДЕ НЕМОН МОНАРХ-МЛАДШИЙ ЗАВОД СЕЛЬТЕРСКОЙ ВОДЫ

Старинный герб рода де Немон сверкал и красовался на фирменных сифонах, на счетах и бланках.

За воротами двор, просторный и светлый; днем, когда ворота распахнуты, от него даже светлее на улице. В глубине двора старинное здание: пышно разукрашенный почерневший фасад, балкончики с выгнутыми коваными решетками, другие — с каменными пилястрами,

огромные, высокие окна с фронтонами, с карнизами, выступающими над верхними этажами, как множество мелких крыш под одной крышей, и, наконец, на коньке, посреди черепиц, круглые слуховые окна, кокетливо обрамленные лепными гирляндами наподобие зеркал. Добавьте к этому большое каменное крыльцо, источенное и замшелое от дождей, за стены цепляются чахлые побеги дикого винограда, такие же черные и скрученные, как бечевка, которая болтается наверху, на чердачном блоке, а в целом — картина величавого и скорбного обветшания... Это и есть старинное родовое жилище Немонов.

При дневном свете вид у дома совсем другой. Надписи: «Касса, склад, вход в мастерские»-сверкают золотыми буквами на старых стенах, оживляют, молодят их. Железнодорожные фуры сотрясают ворота. На крыльцо выбегают конторщики с пером за ухом, чтобы принять товар. Двор завален ящиками, корзинами, соломой, мешковиной. Сразу видно, что здесь помещается завод... Но в торжественной тишине ночи, когда свет зимней луны отбрасывает и переплетает тени среди гуши причудливых кровель, тогда древний немоновский дворец вновь обретает барственный вид. Решетки чернеют, точно кружевные, парадный двор становится больше, наполовину заколоченные окна неравномерно освещают старую лестницу, и местами на ней так и рисуются уголки собора с пустынными нишами, а глухие переходы напоминают алтари.

В эту ночь г-ну Монарху его дом представляется особенно величественным. Звук собственных шагов на безлюдном дворе нагоняет жуть. Лестница кажется огромной, и подняться по ней ему прямо не в состоянии. Должно быть, из-за праздничного ужина... Добравшись до второго этажа, он останавливается, чтобы перевести дух, и подходит к окну. Вот что значит жить в историческом здании! Г-н Монарх отнюдь не поэт, и все же при виде великолепного аристократического двора, по которому луна раскинула покров голубого света, при виде старого жилища вельмож, которое словно спит под надвинутым на крыши снежным колпаком, ему лезут в голову дикие мысли:

«А что если возвратятся Немоны?..».

В эту минуту раздается звонок. Ворота распахиваются с такой быстротой и силой, что гаснет фонарь, и некоторое время внизу, у входа, слышатся шум и топот. Там спорят, торопясь протиснуться вперед. Вот появляются лакеи, тучи лакеев, зеркальные стекла карет сверкают при свете луны, портшезы покачиваются между двумя факелами, разгоревшимися на сквозном ветру. Двор вмиг наполняется. Но у крыльца суэта стихает. Люди выходят из карет, раскланиваются и поднимаются по лестнице, беседуя, и явно чувствуют себя здесь как дома. С крыльца доносится шелест шелка и бряцание шпаг. Волосы у всех белые, плотные и тусклые от пудры. Голоса у всех слабенькие, тонкие и чуть надтреснутые, беззвучные смешки, неслышная поступь. Видно, что это старые, очень старые люди. Глаза тусклые, драгоценные камни погасшие, старинные тканые шелка с блеклыми переливами мягко поблескивают от вспышки факелов. И над всем сборищем носится облачко пудры; оно поднимается из замысловатых, заложенных в букли куафюр при каждом поклоне, которому придают чопорность шпаги и фижмы... Вскоре весь дом уже как будто заполнили призраки, зажженные факелы мелькают в окнах, поднимаются по витой лестнице вплоть до слуховых окошек, которым тоже перепадает искра жизни и праздника. Весь немоновский дворец загорается огнями, как будто яркий луч заката зажег стекла его окон.

— Господи! Да они спялят мне дом!.. — спохватывается г-н Монарх и, очнувшись от изумления, через силу шевеля затекшими ногами, спускается во двор, где лакеи успели развести яркий костер. Г-н Монарх подходит и заговаривает с ними. Лакеи не отвечают, продолжая перешептываться, но при этом не видно, чтобы пар шел у них изо рта на студеном воздухе ночи. Г-н Монарх раздосадован, его успокаивает лишь то, что яркий огонь костра, хоть и поднимающийся вверх столбом, не похож на обыкновенный огонь; он пылает, но не греет и не жжет. Успокоившись, почтенный заводчик поднимается на крыльцо и входит в складские помещения.

Должно быть, раньше эти помещения нижнего этажа были роскошными парадными залами. Частички потускневшего золота еще блестят по углам. Роспись на мифологические сюжеты вьется по всему потолку, обрамляет зеркала, витает над дверьми, но краски ее стерлись и померкли, как память о прошедших годах. Ни драпировок, ни мебели, к сожалению, уже нет. Есть только корзины, ящики, наполненные сифонами с оловянными краниками, а за окном чернеют сухие ветки старой сирени. Войдя в свой склад, г-н Монарх видит, что там полно света и людей. Он кланяется, но никто его не замечает. Дамы в атласных шубках прогуливаются под руку с кавалерами и жеманничают. Все сходятся, беседуют и снова расходятся. Право же, эти дряхлые маркизы ведут себя здесь, как дома. Перед разрисованным трюмо останавливается призрачная фигурка.

— Кто поверит, что это я, что я снова здесь! — лепечет она, вся дрожа, и с улыбкой смотрит на вставленную в панель стройную и розовую Диану с полумесяцем на лбу.

— Немой! Взгляни-ка на свой герб!

И все смеются, рассматривая прилепленный к мешку герб Немонов с подписанной под ними фамилией «Монарх».

— Ого!.. Монарх!.. Значит, во Франции не перевелись еще монархи?

И в зале долго не смолкает смех, хихиканье, похожее на тоненький звук флейты; дамы с жеманной гримаской грозят пальчиком...

— Шампанское! Шампанское! — раздается вдруг чей-то возглас.

— Да нет же!..

— Да говорят вам, что это шампанское!.. Пригубьте, графиня, в честь праздника.

Они приняли за шампанское сельтерскую воду г-на Монарха. Им, правда, кажется, что оно порядком выдохлось, но все равно, можно выпить и такое! К тому же бедненьким призракам не много надо, чтобы охмелеть: они быстро оживляются, веселят от шипучей водицы и порываются танцевать. Составляются пары для менуэта. Четыре искусных скрипача, которых пригласил Немон, играют пьеску Рамо,[18] построенную на триолях, нежную и печальную, несмотря на быстрый темп. Надо видеть, как эти очаровательные старушки медленно, с важным видом кружатся и приседают в такт музыке. И наряды дам становятся новее, так же, как парчовые жилеты, тканые кафтаны и башмаки с алмазными пряжками на их кавалерах. Даже стенные панели как будто оживают при звуке забытых мелодий. Старое зеркало, вставленное в стену добрых двести лет тому назад, тоже их узнает. Невзирая на царапины и почерневшие углы, оно проясняется и посылает танцорам их отражения, правда, немного мутные, как бы подернутые дымкой умиленного сожаления. Г-ну Монарху неловко в этом блистательном обществе. Он забился за груду ящиков и смотрит во все глаза...

Тем временем занимается заря. В застекленные двери склада видно, как посветлел двор, потом верхние стекла окон и, наконец, половина зала. Чем ярче разгорается день, тем заметнее блекнут и сливаются лица. Вскоре г-н Монарх видит только двух сухоньких скрипачей — они задержались в углу, но луч света коснулся их, и они растаяли тоже. Во дворе еще виднеются, хоть и очень смутные, очертания портшеза, пудренный парик, убранный изумрудами. Последние вспышки факела, брошенного наземь лакеями, сливаются с теми искрами, что выбивают колеса телеги, громяющей в распахнутых воротах...

ВОЛНЕНИЯ РЫЖИКА

Куропатки, как вы знаете, живут стайками и ютятся в бороздах хлебных полей, откуда при малейшей тревоге взлетают все сразу, рассыпаясь в воздухе, словно горсть зерен, брошенная сеятелем. Наша веселая многочисленная стая расположилась на краю поля, у опушки большого леса, здесь у нас был обильный корм и надежное убежище. Поэтому с тех пор, как я научился бегать и оделся в перья, я всегда был сыт и очень доволен своей жизнью. Одно меня немного тревожило — это пресловутое открытие охоты, о котором наши матери то и дело шептались между собой.

Один из стариков нашей стаи говорил мне не раз: — Не бойся. Рыжик (меня прозвали так за красно — рыжие, как рябина, клюв и лапки), — не бойся. Я возьму тебя с собой в этот день, я уверен, что с тобой ничего плохого не случится.

Старик был очень хитер и еще довольно проворен, хотя на груди у него уже обозначалась подкова и кое — где пробивались седые перья. В ранней молодости ему прострелили крыло дробинкой, и с той поры он стал тяжеловат на подъем, долго осматривался, прежде чем взлететь, не спешил и благополучно уходил от опасности. Часто он водил меня к самой опушке леса. Там, среди каштановых деревьев, приютился удивительный, всегда запертый домик, безмолвный, как опустевшая нора.

— Следи хорошенько за этим домом, малыш, — говорил мне старик. — Когда увидишь, что над крышей поднимается дымок, а двери и ставни открыты, — значит пришла беда.

Я во всем полагался на него: я знал, что он пережил на своем веку не одно открытие охоты.

И вот недавно, на рассвете, слышу, кто-то из борозды тихонько окликает меня:

— Рыжик, а Рыжик!

Смотрю: мой старик. Взгляд у него необычный.

— Идем скорей, — говорит он, — делай все, как я.

Я последовал за ним, полусонный, скользя среди комьев земли, точно мышь, не взлетая и даже почти не подпрыгивая. Мы шли к лесу, и я увидел дымок над трубой домика, свет в окнах и перед раскрытой настежь дверью толпу охотников в полном снаряжении, окруженных сворой собак, которые весело прыгали. Я расслышал, как одни из охотников крикнул:

— Утром поохотимся в поле, а после завтрака перейдем в лес!

Тогда я понял, почему мой старый приятель повел меня сперва в лес. Все же сердце у меня сильно билось, особенно когда я думал о наших бедных друзьях.

Вдруг, когда мы уже были у самой опушки, собаки кинулись в нашу сторону...

— Ложись, ложись! — шепнул мне старик, пригибаясь к земле.

В ту же минуту, в десяти шагах от нас, широко раскрыв клюв и расправив крылья, с криком ужаса взметнулась испуганная перепелка. Раздался страшный грохот, и нас обдало странно пахнувшей пылью, белой и жаркой, хотя солнце еще только взошло. Я так испугался, что не мог бежать дальше. К счастью, мы уже достигли леса. Мой спутник укрылся за молодым дубком, я приткнулся возле него, и так мы сидели оба, притаясь и выглядывая сквозь листья.

С поля доносилась отчаянная пальба. При каждом выстреле я, оглушенный, зажмуривал глаза. А когда я решался их открыть, я видел перед собой широкую голую равнину и бегущих по ней собак, которые обнюхивали каждую травинку, каждый пучок колосьев и кружили, как бешеные. Охотники кричали и бранились; их ружья сверкали на солнце. На один миг сквозь облачко дыма мне почудились летящие по воздуху листья, хотя в этом месте не было ни одного дерева. Но старик объяснил мне, что это были перья. И действительно, в ста шагах от нас упала в борозду великолепная серая куропатка, запрокинув окровавленную головку.

Когда солнце поднялось высоко и стало сильно пригревать, стрельба внезапно прекратилась. Охотники возвращались в домик, где трещал разведенный в очаге огонь. С ружьями за плечами они шли, болтая между собой, обсуждая выстрелы, а за ними, высунув язык, плелись измученные собаки...

— Они собираются завтракать, — сказал мой приятель, — последуем их примеру.

Мы вошли в гречишное поле, рядом с лесом, широкое, все в цвету, бело-черное поле, пахнувшее миндалем. Там уже клевали зерна золотисто-коричневые красавцы фазаны, низко наклоняя головы, боязливо пряча красные гребешки, чтобы не быть замеченными. Куда девался их обычный горделивый вид! Не переставая клевать, они расспрашивали нас обо всем виденном, осведомлялись, не погиб ли кто из их родни. Между тем пиршество охотников, проходившее сначала в молчании, становилось все более шумным. Мы слышали звон стаканов и хлопанье пробок. Старик решил, что нам пора вернуться в наше убежище.

Лес, казалось, уснул. Лужа, куда приходили пить косули, стояла неподвижно; никто не тревожил языком ее гладкую поверхность. Ни одна кроличья мордочка не шарилась в густой траве. Казалось, таинственный трепет пронизывал все вокруг. Точно под каждым листом, под каждой травинкой укрылось от опасности живое существо. У лесной дичи есть столько укромных уголков, норок, тайников в густой листве, в зарослях, под хворостом, в кустарниках, и канавок, маленьких лесных канавок, хранящих воду долго после того, как прошел дождь. Признаюсь, я охотно забрался бы в одну из этих ямок, но мой спутник предпочитал открытое место, чтобы видно было далеко вокруг, чтобы перед тобой было большое пространство. Действительно, это оказалось к лучшему, так как охотники уже входили в лес.

О, этот первый выстрел в лесу! Я его никогда не забуду. Подобно апрельскому граду, он продырявил листья и пробил кору деревьев. Кролик несся через дорогу, на бегу вырывая вытянутыми когтями пучки травы. Белка свалилась с каштанового дерева, и на землю посыпались незрелые каштаны. Два-три грузных фазана тяжело взлетели. Этот выстрел всколыхнул воздух, вызвал переполох в нижних ветвях и в горах опавших листьев; он разбудил, взволновал, привел в ужас всех жителей леса. Мыши забрались в норки. Из дупла дерева, за которым мы прятались, выполз жук-рогач, выпучив глупые, застывшие от страха глаза. Синие стрекозы, шмели, бабочки — вся эта мелюзга металась в разные стороны. Маленький кузнечик с пунцовыми крыльями сел совсем близко от моего клюва, но сам я был в таком ужасе, что не воспользовался его испугом.

Зато старик был по-прежнему спокоен. Внимательно прислушиваясь к собачьему лаю и к выстрелам, он делал мне знак, лишь только они приближались, и мы отходили подальше, чтобы собаки не могли нас настичь, и поглубже зарывались в густую листву. Была минута, когда я думал, что мы пропали. Просека, которую нам предстояло перейти, с обеих сторон охранялась притаившимися охотниками. В одном конце караулил высокий малый с черными бакенбардами, весь обвешанный металлическими предметами; патронташ, пороховница, охотничий нож брэнчали при каждом его движении; на нем были длинные, до самых колен, гетры, благодаря которым он казался еще выше. В другом конце, прислонившись к дереву, стоял старичок и спокойно курил трубку, мигая глазами так, словно его клонило ко сну. Его я ничуть не боялся, но тот, высокий...

— Ты ничего не смыслишь, Рыжик, — сказал мне, смеясь, мой товарищ и, широко расправив крылья, смело пролетел почти под носом у страшного охотника с бакенбардами.

Дело в том, что бедняга был настолько скован своим пышным охотничьим снаряжением, так был занят самолюбованием, что, когда он нацелился, мы уже были далеко. Ах, если бы охотники знали, сколько глазенок следит за ними из-за кустов, когда они воображают, что их никто не видит в лесной глуши, сколько острых клювиков едва удерживается от смеха при виде их неловкости!..

Мы все летели и летели. Мне не оставалось ничего другого, как подражать во всем моему старому другу; как только он взлетал, — я расправлял крылья; я складывал их, лишь только он садился. Я, как сейчас, вижу места, где мы пролетали: лужайку, поросшую розовым вереском, испещренную множеством норок у подножия желтых стволов; высокие, растущие сплошной стеной дубы, за которыми, казалось, меня подстерегала смерть; зеленую тропинку, по которой моя мать-куропатка столько раз прогуливалась под майским солнцем свой выводок, где мы резвились, клевали красных муравьев, взбиравшихся на наши лапки, где мы встречали кичливых маленьких, тяжелых, как цыплята, фазанов, которые не желали играть с нами.

Я увидел эту тропинку, точно во сне, в тот миг, когда по ней, широко раскрыв глаза и готовясь к прыжку, пробежала серна на высоких стройных ножках. Вот лужа, где мы целой стаей, птиц двадцать — тридцать, поднявшись разом с соседнего поля, пили воду из родника, обдавая друг друга брызгами, стекавшими по блестящим перьям... Посреди лужи рос густой ольховник, и на этом островке мы укрылись. Собаки должны были обладать редкостным чутьем, чтобы разыскать нас в этом убежище. Некоторое время спустя появилась косуля. Она с трудом передвигалась на трех ногах, оставляя за собой на мху красный след. Мне было так грустно смотреть на нее, что я спрятал голову в листву, но я слышал, как раненое животное пило воду из лужи, задыхаясь, горя в лихорадке...

День клонился к закату, выстрелы постепенно удалялись, становились реже. Потом все затихло... Конец... Мы потихоньку вернулись в поле, чтобы узнать о судьбе нашей стаи. Проходя мимо деревянного домика, я увидел нечто ужасное.

На краю канавы рыжие зайцы, серые кролики с белыми хвостиками лежали, вытянувшись в ряд. Сведенные смертью лапки словно молили о пощаде; затуманенные глаза, казалось, плакали. Красные, серые куропатки, с «подковой» на груди, как у моего товарища, и совсем юные, вроде меня, у которых был еще пушок под перьями, лежали на земле. Знаете ли вы что-нибудь печальнее зрелища мертвой птицы? Птичьи крылья так полны жизни! Сложенные и закостеневшие, они приводят в содрогание... Большая прелестная косуля, казалось, спокойно спала, высунув розовый язычок, как бы собираясь облизнуть губы.

Склонившись над окровавленными жертвами, охотники подсчитывали добычу, убирали ее в ягдташи, волоча за поломанные лапки, за перебитые крылья, без малейшего уважения к свежим ранам. Собаки, взятые на поводок, скалили клыки, как бы готовясь по первому знаку снова броситься в чащу.

Солнце уже садилось вдали, и, глядя, как все они — люди и собаки, — измученные, уходили, отбрасывая длинные тени на бугристую землю, на мокрые от вечерней росы тропинки, я проклинал их. О, как я ненавидел всю эту шайку!.. Ни у меня, ни у моего спутника не хватало духу послать обычный прощальный привет догоравшему дню.

По пути домой нам попадались несчастные зверьки, убитые случайной пулей и оставленные на съедение муравьям. Мыши с испачканными землей мордочками, подстреленные на лету сороки и ласточки лежали на спине, вытянув окоченевшие лапки навстречу осенней ночи, а ночь быстро спускалась, светлая, холодная и сырая. Но сильнее всего раздирает душу

протяжный тоскливый зов, доносившийся то с лужайки, то с опушки или из прибрежного тростника — одинокий, тревожный — зов, не находивший отклика.

ЗЕРКАЛО

© Перевод Н. Касаткиной

В северных краях, на берегу Немана, очутилась пятнадцатилетняя креолочка, вся розовая и белая, как цветок миндаля. Она явилась с родины птичек колибри, и принес ее ветер любви... Земляки-островитяне уговаривали ее:

— Не ездь на материк, там такой холод!.. Ты не переживешь зимы.

Но креолочка не верила в ужасы зимы, а холод ощущала, только когда лакомилась шербетом. К тому же она была влюблена и не боялась смерти... Итак, она прибыла на север в неманские туманы, со всеми своими веерами, сетками от москитов, с гамаком и золоченой клеткой, наполненной птицами ее родины.

Когда владыка севера Дед Мороз увидел этот дар юга, принесенный ему с островов солнечным лучом, сердце старика растаяло от жалости. Понимая, что холод вмиг прикончит и девчурку и птичек колибри, он поспешил засветить свой желтый солнечный шар, а сам нарядился в летний убор, чтобы встретить южную гостью... Креолка поддалась на обман, приняла недолгий, но тяжкий северный зной за постоянное тепло, вечнозеленую темную хвою за свежую зелень весны, повесила гамак в глубине парка между двумя соснами и знай себе покачивается и обмахивается веером целый божий день!

— Вот ведь какая жара на севере! — смеясь, говорила она.

Все же что-то тревожило ее. Отчего в этом непонятном краю дома без веранд, зато стены толстые-претолстые и повсюду ковры и тяжелые драпировки? На что могут быть нужны пузатые изразцовые печи и поленицы дров, сложенные во дворах? На что нужны накидки из голубых лисиц, теплые шубы, всевозможные меха, запрятанные в шкафах?.. Ей, бедняжке, вскоре предстояло это узнать.

Проснувшись однажды утром, креолочка почувствовала, что ее пробирает дрожь. Солнце скрылось, а с темного, низко нависшего неба, приблизившегося за ночь к земле, падали бесшумные белые пушинки, как будто с веток хлопчатника... Зима пришла! Пришла зима! Ветер свищет, печи гудят. Колибри уже не щебечут в своей золоченой клетке. Неподвижны их голубые, розовые, рубиновые, изумрудные крылышки. Жалко смотреть, как, застыв и нахохлившись от холода, жмутся друг к другу птички с тонкими клювиками и глазками в виде булавочных головок. В глубине парка трясется заиндевший гамак, а ветки сосен превратились в стеклянные шнуры... Креолочке холодно и страшно выйти из дому.

Сжавшись в комочек возле камина, подобно своим колибри, она весь день смотрит в огонь и греется на солнце воспоминаний. В пылающем жаром очаге ей видится родной край: залитые солнцем набережные, из сахарного тростника струится сладкий коричневый сок, в золотистой пыли кружат зерна маиса. А послеобеденный отдых за светлыми занавесями на соломенных циновках! А звездные вечера, светящиеся мошки, мириады крылышек, жужжащих среди цветов и в сетке тюлевого полога!..

А пока она грезит у камина, зимние дни становятся все короче, все темнее. Каждое утро в клетке подбирают мертвую птичку. Вскоре их остается всего две, два комочка зеленых

перьев, которые, нахохлясь, жмутся друг к Другу...

Настало утро, когда креолочка уже не могла встать. Как маонское одномачтовое суденышко, [19] затертое среди северных льдов, ее тоже сковал и обессилил мороз.

В комнате темно и уныло. Иней накинул на окно густую завесу матового шелка. Город как будто вымер, и на безмолвных улицах слышно только жалобное пыхтение паровика, очищающего путь от сугробов снега. Лежа в постели, креолка раскрывает веер, любуется унизывающими его блестками или глядится в зеркала, привезенные с родины и опушенные пестрыми павлиньими перьями.

Все темнее, все короче становятся зимние дни. Креолочка томится и тоскует под кружевным пологом. Больше всего огорчает ее, что с кровати не видно камина. Ей кажется, будто она вторично лишилась родины...

Время от времени она спрашивает:

— Огонь горит?

— Конечно, детка, горит. Камин так и пылает. Слышишь, как потрескивают дрова, как громко стреляют шишки?

— В самом деле?

Но как она ни наклоняется, огня ей не видно, и это приводит ее в отчаяние.

Вот она, бледная и печальная, положив голову на самый край подушки, смотрит вечером в ту сторону, где пылает чудесный незримый огонь, а к постели подходит ее возлюбленный и берет одно из зеркал, лежащих на одеяле:

— Голубка моя! Тебе хочется видеть огонь... Погоди, сейчас я это устрою...

Он становится на колени возле камина и пытается с помощью зеркала направить на нее отблеск волшебного огня:

— Видишь теперь?

— Нет, ничего не вижу.

— А сейчас?»

— Пока еще нет...

И вдруг сноп огня озаряет ее лицо, все ее тело.

— Да, да, вижу! — радостно вскрикивает креолка и умирает со счастливым смехом, унося два огонька в глубине зрачков.

Примечания

S'il tient sa langue — il tient la c/c qui de ses chaînes l'a délivré. F. Mistral (Прим. автора.)

2

Компьен — городок неподалеку от Парижа; в Компьенском дворце при Наполеоне III устраивались придворные увеселения.

3

Тюрэнн, Анри де Ла Тур д'Овернь (1611–1675) — французский маршал, одержавший ряд побед над немцами и голландцами; отличался редким спокойствием и хладнокровием.

4

В крепости Шпандау близ Берлина во время франко-прусской войны содержали французских пленников.

5

Бои 14–16 августа 1870 года, в результате которых прусская армия вынудила войска маршала Базена сосредоточиться в Меце.

6

Крепость Мец с многочисленной боеспособной армией после двухмесячной осады была сдана Базеном неприятелю; со стороны Базена это был акт предательства.

7

В 1862 году Базен был послан в Мексику, где руководил интервенцией, предпринятой правительствами Англии и Франции против Мексиканской республики.

8

Иоганн-Кристоф Шмидт (1768–1854) — немецкий педагог и детский писатель, автор «Нравственных сказок» (1810–1820).

9

Пятнадцатого августа — день рождения Наполеона I, официальный праздник французской Империи; в этот день публиковались списки лиц, награжденных орденом Почетного легиона.

10

Кабилы — берберийская народность, коренные жители Алжира.

11

Герцог Пелисье, Жан-Жак (1794–1864) — французский маршал, один из завоевателей Алжира, с 1860 года — его генерал-губернатор.

12

Жирарден, Эмиль (1806–1881) — французский журналист и делец, издатель газет «Ла Пресс» и «Либерте».

13

Император Август-здесь имеется в виду персонаж трагедии Корнеля «Цинна» (1640); Магомет — герой одноименной трагедии Вольтера (1742); Феликс — персонаж драмы Корнеля «Полиевкт» (между 1640 и 1643 гг.).

14

Патриарх Пасси. — Имеется в виду Виктор Гюго, живший в те годы на улице де ла Помп, в

квартале Пасси.

15

Сарду, Викторьен (1831–1908) — французский драматург, автор популярной пьесы «Мадам Сан-Жен».

16

После поражения в русской кампании Наполеон I стал искать примирения с папой Пием VII (1740–1823), которого он несколько лет содержал во Франции под стражей. С 19 января 1813 года Наполеон вел с ним переговоры, сопровождавшиеся вначале бурными сценами; во время одной из них Пий VII назвал императора «комедиантом» и «трагиком».

17

Комедиант! Трагик! (итал.)

18

Рамо Жан-Филипп (1683–1764) — знаменитый французский композитор, автор многочисленных опер, балетов и танцевальных сюит.

19

Маон — город на острове Менорка в Средиземном море.